

С.Р. Федякин

Александр Александрович Блок (1880–1921)

«Выхожу я в путь, открытый взорам...»	1
«Начались стихи в изрядном количестве...»	5
«Мистика начинается»	8
«Стихи о Прекрасной Даме»	11
«Будет так много хорошего в воспоминании о Москве»	17
«Менялся... состав духовного воздуха эпохи»	21
«Писательская судьба — трудная, жуткая, коварная судьба»	29
«Возмездие»	37
«Мы — дети страшных лет России...»	44
«Ничего, кроме музыки, не спасет»	49
Последние годы	54

«Был Пушкин и был Блок... Все остальное — между!» Эти слова Владислава Ходасевича очень точно выразили чувства многих современников поэта. В этой фразе не только ощущение значения Блока для русской поэзии, но и чувства несомненного его родства с великим девятнадцатым веком русской литературы. Он менее всего стремился быть только поэтом, только писателем. Марина Цветаева, уже после смерти Блока, напишет о нем: «Больше, чем поэт: человек». Еще один современник, ставший уже в эмиграции известным критиком, Георгий Адамович, скажет о поэзии Блока: он «там, где остальные люди, Блок заодно с ними, что бы ни случилось». Потому к нему на квартиру приходили совсем юные начинающие поэты или просто его почитатели, чтобы он ответил им на простой вопрос: «Как жить?» Потому именно творчество Блока стало для многих русских мыслителей отправной точкой в их попытках объяснить, что же случилось с Россией, да и со всем миром в самом начале XX века, когда вдруг, за одно поколение, все изменилось до неузнаваемости.

«Выхожу я в путь, открытый взорам...»

В 1755 немецкий медик Иоганн Фридрих Блок переселился из Германии в Россию, превратившись в лейб-хирурга Ивана Леонтьевича Блока. Он дал начало новой дворянской фамилии, прочно связанной теперь в нашем сознании с великой русской поэзией — с книгами, стихотворениями, поэмами и статьями, названия которых звучат столь знакомо: «Стихи о Прекрасной Даме», «Незнакомка», «На поле Куликовом», «Соловьиный сад», «Двенадцать», «Народ и интеллигенция», «Крушение гуманизма», «О назначении поэта»... Но когда в 1909 и в 1915 Блока попросят написать «Автобиографию», он начнет рассказ о своих предках не с этой, германской, своей родословной.

«Семья моей матери причастна к литературе и к науке». За этой фразой не только гордость потомка известнейшего рода Бекетовых, но и эхо семейной драмы, начало которой во времени, предшествовавшем появлению будущего поэта на свет.

Отец поэта, Александр Львович Блок, был человек незаурядный. Он родился в Пскове, в семье правоведа, чиновника Льва Александровича Блока. Его мать, Ариадна Александровна (урожденная Черкасова) была дочерью псковского губернатора. Гимназию Александр Львович окончил в Новгороде, с золотой медалью. Поступив на юридический факультет Петербургского университета, он обратил на себя внимание профессоров: ему прочили блестящую будущность.

Позже от бабушки и тетки со стороны матери поэт узнает, что в молодости при случайной встрече его отец своим «байроническим» обликом произвел сильное впечатление на Достоевского (отголоски этого семейного предания прозвучат в поэме «Возмездие»). Знаменитый писатель вроде бы даже вознамерился сделать Александра Львовича прототипом одного из своих героев.

Но помимо «байронической» или «демонической» внешности, Александр Львович обладал и другими, более важными качествами: оригинальный ум, редкая, до самозабвения любовь к поэзии, к музыке (сам прекрасно играл на рояле). После себя он оставил два сочинения: «Государственная власть в европейском обществе» и «Политическая литература в России и о России», примечательные уже тем, что в них можно найти сходное с сыном ощущение России: то, что Александр Львович пытался изложить как ученый-публицист, Александр Блок с предельной остротой выразил в стихотворении «Скифы».

Но литературное наследие Александра Львовича оказалось меньше его дарования. «Свои непрестанно развивавшиеся идеи, – писал поэт об отце в «Автобиографии», – он не сумел вместить в те сжатые формы, которых искал; в этом искании сжатых форм было что-то судорожное и страшное, как во всем душевном и физическом облике его». Не менее выразительна и характеристика отца поэта, данная его учеником Е. Спекторским:

«Александр Львович был убежден, что у каждой мысли есть только одна действительно соответствующая ей форма выражения. Годами переделывая свой труд, он и искал эту единственную форму, преследуя при этом сжатость и музыкальность (ритмичность, размеренность). В процессе этой бесконечной переработки он стал в конце концов превращать целые страницы в строки, заменять фразы отдельными словами, а слова — знаками препинания», не замечая, что «его работа становится все более и более символистической, еще понятной для ближайших учеников, но для широкого круга непосвященных уже совершенно недоступной».

Есть какая-то напряженность в облике Александра Львовича Блока. Талант мыслителя историсофского склада и талант стилиста у Александра Львовича не дополняли друг друга, но сталкивались между собой. Ту же напряженность мы находим и в его поведении. Близких людей он и стратно любил, и жестоко мучил, ломая жизнь им и себе.

8 января 1879 — день венчания Александра Львовича Блока и Александры Андреевны Бекетовой. Став приват-доцентом в Варшавском университете (в то время часть Польши вместе с Варшавой входила в состав Российской империи), отец будущего поэта увозит молодую жену с собой. Осенью 1880 Александр Львович приезжает с Александрой Андреевной в Петербург. Ему предстоит защита магистерской диссертации. Состояние Александры Андреевны, ее усталость, измученность, рассказы о деспотическом характере мужа поражают родных. Скоро ей предстоят роды. По настоянию Бекетовых Александра Андреевна остается в Петербурге. Александр Львович, с блеском защитив диссертацию, уезжает в Варшаву. Какое-то время он пытается заново расположить к себе жену. Однако эти попытки остались безуспешными. 24 августа 1889 по указу Священного Синода брак Александра Львовича и Александры Андреевны был расторгнут. После Александр Львович был женат еще раз, но и этот брак, от которого у него осталась дочь, оказался непрочным.

Будущий поэт рос вдаль от отца. Александра Львовича он видит лишь изредка, их сдержанное общение — в письмах. Оценить отца по достоинству поэт сумеет лишь после его смерти. В кругу Бекетовых Саша Блок — любимец и баловень, но печать семейной драмы ожила в глубинах его видения мира, и многие темы поздней лирики Блока навеяны неустроенностью, отсутствием твердой опоры в жизни.

Когда мать Блока второй раз выходила замуж, — ее супругом стал офицер лейб-гвардии Гренадерского полка Франц Феликсович Кублицкий-Пиоттух, человек добрый, мягкий, — то надеялась, что отчим сможет в какой-то мере заменить сыну отца.

Но никакой душевной близости отчим и пасынок друг к другу не почувствовали. Да и за беззаветной любовью бабушки и теток скрывалось напоминание о безотцовщине. Тема «возмездия» (как и одноименная поэма Блока) выйдет из этой его «отлученности» от семейного очага, сквозь которую он увидит трагедию всей России.

Александр Александрович Блок появился на свет 16 (по новому стилю — 28) ноября 1880. Он родился в тревожное время: через несколько месяцев после его рождения, 1 марта 1881, народовольцы убивают Александра II. Это событие стало для России предвестием будущих потрясений. Но ранние годы поэта — счастливые годы. В дневнике его бабушки Елизаветы Григорьевны Бекетовой после тревожных записей о покушении на государя сказано и о крошечном внуке: «Сашура становится главной радостью жизни». В воспоминаниях тетки Марии Андреевны признание: «С первых дней своего рождения Саша стал средоточием жизни всей семьи. В доме установился культ ребенка».

Дед, бабушка, мать, тетки — самые близкие ему люди. Об отце в «Автобиографии» он скажет глухо, с напряжением: «Я встречался с ним мало, но помню его кровно». О Бекетовых пишет легко, спокойно, с подробностями.

Ему было чем гордиться. Бекетовы — среди друзей и знакомых Карамзина, Дениса Давыдова, Вяземского, Боратынского. В их роду можно встретить землепроходца, актера, стихотворца, журналиста, библиофила, героя Отечественной войны 1812 года... Замечательные люди окружали и маленького Сашу Блока.

Его дед — знаменитый ученый, ботаник Андрей Николаевич Бекетов был для него другом его детских лет: «...мы часами бродили с ним по лугам, болотам и дебрям; иногда делали десятки верст, заблудившись в лесу; выкапывали с корнями травы и злаки для ботанической коллекции; при этом он называл растения и, определяя их, учил меня начаткам ботаники, так что я помню и теперь много ботанических названий. Помню, как мы радовались, когда нашли особенный цветок ранней грушевки, вида, неизвестного московской флоре, и мельчайший низкорослый папоротник...»

Бабушка Елизавета Григорьевна Бекетова — дочь известного путешественника, исследователя Средней Азии Григория Силыча Корелина. Она была и переводчиком с нескольких языков, давшим русскому читателю сочинения Бокля, Брэма, Дарвина, Бичер-Стоу, Вальтера Скотта, Диккенса, Теккерея, Руссо, Гюго, Бальзака, Флобера, Мопассана и многих других известнейших ученых и писателей. Об этих переводах Блок с достоинством скажет: «...ее мировоззрение было удивительно живое и своеобразное, стиль — образный, язык — точный и смелый, обличавший казачью породу. Некоторые из ее многочисленных переводов остаются и до сих пор лучшими». Елизавета Григорьевна встречалась с Гоголем, Достоевским, Толстым, Аполлоном Григорьевым, Полонским, Майковым. Она не успела написать свои воспоминания, и Александр Блок мог впоследствии перечесть только краткий план предполагаемых записок и вспомнить некоторые бабушкины рассказы.

Мать Блока и тетки поэта тоже были писательницами и переводчицами. Через них русский читательзнакомился с произведениями Монтескье, Стивенсона, Хаггарта, Бальзака, Гюго, Флобера, Золя, Доде, Мюссе, Бодлера, Верлена, Гофмана, Сенкевича и многих других.

Перу тетки Екатерины Андреевны Бекетовой (в замужестве Красновой) принадлежит стихотворение «Сирень». Положенное на музыку Сергеем Рахманиновым, оно стало известным романсом. Мария Андреевна Бекетова войдет в историю русской литературы как автор мемуаров, связанных с жизнью и творчеством Блока. Мать будет играть в жизни поэта исключительную роль. Именно она станет первым его наставником и ценителем, ее мнение для Блока будет значить очень много. Когда Саша Блок начнет выпускать свой домашний литературный журнал «Вестник», мать станет «цензором» издания.

Дед, бабушка, мать, тетки... Узкий круг близких людей. И уже в детские годы ощущается самодостаточность для него именно этого круга. Из детей Блок будет

особенно дружен с двоюродными братьями Феролем и Андрюшей, детьми тетки Софьи Андреевны (в девичестве Бекетовой), которая была замужем за родным братом отчима поэта Адамом Феликсовичем Кублицким-Пиоттух. Но для своих игр он в товарищах не нуждался. Силой воображения он мог оживить обычные кубики (деревянные «кирпичики»), превращая их в конки: лошадей, кондукторов, пассажиров, предаваясь игре со страстью и редким постоянством, все усложняя и усложняя выдуманный им мир. Среди особых пристрастий — корабли. Он рисовал их во множестве, развешивая по стенам комнаты, одаривая ими родных. Эти корабли детского воображения «вплывут» в его зрелые стихи, став символом надежды.

Замкнутость и необщительность в характере маленького Блока проявлялась самым неожиданным образом. От французов, которых ему пытались нанять, он так и не научился французскому языку, поскольку, как позже заметит Мария Андреевна Бекетова, Саша «уж и тогда почти не разговаривал даже и по-русски».

Когда в 1891 будущий поэт поступит в петербургскую Введенскую гимназию, то и здесь со своими одноклассниками будет сходиться трудно, даже к наиболее близким товарищам не испытывая особой привязанности. Его постоянные увлечения гимназических лет — сценическое искусство, декламация и свой журнал «Вестник». Последний Блок «издавал» с 1894 по 1897, выпустив 37 номеров. Его троюродного брата Сергея Соловьева, который в это время познакомился с Блоком, «поразила и пленила в нем любовь к технике литературного дела и особенная аккуратность»: «Вестник» был изданием образцовым, с вклеенными иллюстрациями, вырезанными из других журналов.

Но важную роль в развитии поэта сыграли не только близкие ему люди и не только увлечения, но и его дом.

В Санкт-Петербурге, столице Российской империи, пройдет почти вся жизнь поэта. Петербург отразится в его стихах. И все-таки Александр Блок не стал только лишь столичным поэтом. Петербург — это была гимназия, которая вызывала в нем страшные воспоминания: «Я чувствовал себя, как петух, которому причертили клюв мелом к полу, и он так и остался в согнутом и неподвижном положении, не смея поднять голову». Петербург — это казенные квартиры, «место жительства». Домом для Блока стало небольшое имение Шахматово, которое в свое время купил его дедушка Андрей Николаевич Бекетов по совету друга, знаменитого химика Дмитрия Ивановича Менделеева. В первый раз будущего поэта, шестимесячного, сюда привезла мать. Здесь он жил почти каждое лето, а иногда с ранней весны до поздней осени.

Шахматово — между Дмитровом и Клином. Рядом — Боблово, имение Дмитрия Ивановича Менделеева, где Блок встретится с его дочерью Любой. Между Шахматово и Боблово — село Тараканово, где Александр Блок обвенчается с Любовью Дмитриевной Менделеевой. Эти места — исконная «московская Русь»: бесконечные дали, поля, леса, реки. Эта земля живет поверьями. Отсюда придут в поэзию Блока «зубчатый лес», туманы и закаты «Стихов о Прекрасной Даме». И отсюда же — «Болотные чертенятки», «Твари весенние», «Болотный попик»:

На весенней проталинке
а вечерней молитвою — маленький
Попик болотный виднется...

Насколько эта «чертовщина» Шахматова милее, роднее жутких демонов Петербурга:

Там, на скале, веселый царь
Взмахнул зловонное кадило,
И ризой городская гарь
Фонарь манящий облачила!..

Шахматовская земля то полна радостных солнечных бликов:

На весеннем пути в теремок
Перелетный вспорхнул ветерок,
Прозвенел золотой голосок, —

то чистой прозрачности:

Осень поздняя. Небо открытое,
И леса сквозят тишиной.

Здесь невероятная глубина:

Болото — огромная впадина
Огромного ока земли...

И освященная высь:

Вот — предчувствие белой зимы:
Тишина колокольных высот.

Образ России у Блока родом отсюда. Его Непрядва из цикла «Поле Куликово» и река Лутосня похожи, как сестры: «Река раскинулась. Течет, грустит лениво и моет берега...» Отсюда и его дороги, овраги, туманы, «шелесты в овсе». Шахматово в детские годы — это, говоря пушкинскими словами, «покой и воля». А позже спасение от неестественной, мертвой столичной жизни. С каким облегчением звучат слова Блока в его письме знакомому в 1911: «Здесь, по обыкновению, сразу наступила полная оторванность от мира. Письма и газеты приходят два раза в неделю». А через пару строк: «Много места, жить удобно, тишина и благоухание». В этой земле родились строки: «Выхожу я в путь, открытый взорам...» Для Блока нет поэта без собственного пути. Его собственный поэтический путь был бы невозможен без Шахматова.

«Начались стихи в изрядном количестве...»

Литература, свой журнал, театр — все это были увлечения. Чтобы какое-либо из этих увлечений стало для Блока чем-то большим — пусть не сразу, пусть только по прошествии времени, — для этого должно было что-то произойти чрезвычайное.

Летом 1897 вместе с матерью и теткой Марией Андреевной юноша Блок едет в Германию, в Бад-Наугейм. Матери предстоит лечение, Саше Блоку — неожиданная встреча.

В дошедшем до нас стихотворении, написанном 6 июня 1897, — немецкий пейзаж, увиденный глазами смешливого юноши. Блок как бы «подтрунивает» над привычно «романтическими» видами Германии:

Рейн — чудесная река,
Хоть не очень широка.
Берега полны вином,
Полон пивом каждый дом,
Замки видны вдалеке,
Немки бродят налегке,
Ждут прекрасных женихов
И гоняют пастухов...

Но именно здесь его настигла далеко «не шуточная» страсть.

Поначалу встреча с Ксенией Михайловной Садовской мало походила на что-то серьезное. Она — высокая, темноволосая, с изумительными синими глазами дама 37 лет, жена статского советника и мать троих детей. Он — ее юный паж, которому не было и 17. Она смеялась гортанным смехом, он всюду ее сопровождал, покупал розы, катал на лодке.

Но то, что вначале было похоже на игру, кокетство, детское увлечение, стало обретать вполне серьезные черты. И мать, и тетка были не на шутку встревожены. В дневнике Марии Андреевны появляется запись — ревностный взгляд «со стороны»: «Он, ухаживая впервые, пропадал, бросал нас, был неумолим и эгоистичен. Она помыкала им, кокетничала, вела себя дрянно, бездушно и недостойно».

Наверное, обе они вздохнули с облегчением, когда юный кавалер проводил свою даму на поезд, вернулся, упал в кресла и картинно закрыл глаза рукой. Но с приездом

в Петербург встречи возобновились, и в юном гимназисте пылала уже совсем не детская страсть. Серьезно откликнулась на нее и дама его сердца. В их встречах много романтического и безрассудного: закрытые кареты, пылкие послания, прогулки в туманные сумерки... В его письмах «Ты» с большой буквы, уверения в любви без границ.

Встреча в Бад-Наугейме 31 октября 1897 отзовется эхом в стихах:

Ночь на землю сошла. Мы с тобою одни.
Тихо плещется озеро, полное сна.
Сквозь деревья блестят городские огни,
В темном небе роскошная светит луна...

Это уже совсем «не детские» стихи. В Блоке проснулся настоящий лирик. Его стихотворения часто имеют посвящение «К. М. С.». Это ее инициалы.

Через год, в августе 1898, обращаясь к Садовской, Блок напишет:

Помнишь ли город тревожный,
Синюю дымку вдали?
Этой дорогою ложной
Молча с тобою мы шли...

Но и тогда он еще не освободился от своего чувства к синеокой «хохлушке». А через двенадцать лет, поверив в слух, что давняя его возлюбленная умерла, вспомнит ее «тонкие руки», «голос, вкрадчиво протяжный», «синий, синий плен очей», — и подведет черту:

Жизнь давно сожжена и рассказана,
Только первая снится любовь,
Как бесценный ларец перевязана
Накрест лентою алой, как кровь...

В этой встрече гимназиста с «К. М. С.» было много того, что бывает в каждом романе. Но было и другое. В 1909 он скажет:

Эта юность, эта нежность —
Что для нас она была,
Всех стихов моих мятежность
Не она ли создала?..

В 1918, через два десятка лет после этой встречи, о рубеже 1897–1898 он выразится еще определеннее: «С января уже начались стихи в изрядном количестве. В них — К. М. С., мечты о страстях...»

В этом пылком раннем романе впервые обозначилось то, что со временем будет видно все отчетливей: несовпадение обычного хода вещей и судьбы поэта, которая светилась за планом реальности и которая впервые коснулась его в Бад-Наугейме. Земная любовь к «синеокой» не совпадала с иной любовью к той же К. М. С., которая разбудила в нем лирика. И чем дальше, тем меньше в жизни Блока будет собственно биографии и тем больше будет *судьбы*. Первое ощущение ее дыхания было здесь, в Бад-Наугейме.

«С января уже начались стихи в изрядном количестве...» Одно из них впоследствии откроет первый том его лирики. Стихотворение не только о любви, но и о мраке: «Пусть светит месяц — ночь темна... Ночь распростерлась надо мной... В холодной мгле передрастетной...»

Все написанное до 1901 он поместит в раздел «Ante lucem», т. е. «До света». Первые шаги в этом мраке он делает ощупью. Он болен театром, а не поэзией. Участвует в любительских спектаклях, декламирует стихи Фета, Полонского, Апухтина, Алексея Толстого.

«Помню в его исполнении “Сумасшедшего” Апухтина и гамлетовский монолог “Быть или не быть”, — вспоминал двоюродный брат поэта Георгий Блок. Это было не чтение, а именно декламация — традиционно актерская, с жестами и взрывами голоса. “Сумасшедшего” он произносил сидя, Гамлета — стоя, непременно в дверях. Заключительные слова: “Офелия, о нимфа...” — говорил, поднося руку к полужакрытым глазам».

Из того, что он напишет в это время, лишь немного попадет в будущее собрание стихотворений. И все-таки среди позже отвергнутых попадаются строки, полные предчувствия Судьбы:

Жизнь, как загадка, темна,
Жизнь, как могила, безмолвна...

В двух строках будто увидены последние месяцы собственной жизни. Но в стихотворении, обращенном к гимназическому товарищу, есть и предчувствие ближайшего будущего:

Мой друг, я чувствую давно,
Что скоро жизнь меня коснется...

Это касание сначала граничило с обычной случайностью: весной 1898 на передвижной выставке Блока увидела Анна Ивановна Менделеева, жена известнейшего химика Дмитрия Ивановича Менделеева, друга деда. Она пригласила Блока навестить их летом в Боблове, ведь от Шахматова это совсем недалеко. 30 мая Блок оканчивает гимназию, 1 июня получает аттестат зрелости, а 4-го едет из Петербурга в Москву, и 5-го он уже в Шахматове.

Поначалу ничто не предвещало того «касания жизни», о котором он писал в недавнем стихотворении. «В Шахматове началось со скуки и тоски...» – напишет Блок в 1918, вспоминая события того лета.

Он окончил гимназию, с осени его ждет университет. А пока можно предаться праздной жизни. В Боблово его «почти спровадили» родные, и он на белой лошади отправился «с визитом».

Эту встречу Любовь Дмитриевна опишет спустя многие годы так, будто все происходило вчера: жара, запах некошенных трав, топот верховой лошади. Она в своей комнатке на втором этаже. За пышным кустом сирени ей не видно, кто это приехал и спрашивают: «Анну Ивановну».

С «Сашей Бекетовым» они когда-то встречались, давно-давно, да и мать ей уже не раз о нем говорила. Сквозь просветы в листьях сирени она видит, как уводят белого коня, слышит внизу на террасе «быстрые, твердые, решительные шаги» и глухие удары собственного сердца. Не забывает посмотреть на себя в зеркало и переодеться. Сбегает вниз. Ей не нравится ни отсутствие мундира (гимназического, студенческого или военного), ни лицо, ни даже актерский вид, хотя сама она тоже мечтала о сцене. Разговор пошел о возможных спектаклях. От Блока впечатление, близкое к тому, что сам он о себе скажет через 20 лет: «Я был франт, говорил изрядные пошлости».

В воспоминаниях Блока — их можно найти и в набросках к поэме «Возмездие», и в «Исповеди язычника» — нет ничего лишнего, только их встреча, которая будто и произошла сразу:

«Вдруг пронесся неожиданный ветер и осыпал яблоневый и вишневый цвет. За вьюгой белых лепестков, полетевших на дорогу, я увидел сидящую на скамье статную девушку в розовом платье с тяжелой золотой косой. Очевидно, ее спугнул неожиданно раздавшийся топот лошади, потому что она быстро встала, и краска залила ее щеки; она побежала в глубь сада, оставив меня смотреть, как за вьюгой лепестков мелькало ее розовое платье».

В описаниях *ее* и *его* почти ничего общего. У нее — масса житейских подробностей, таких, которые любят составители подробных биографий и жизнеописаний. У него всадник, девушка на скамейке и мелькающее розовое платье и облетающий яблоневый цвет. У нее — вехи биографии, у него — *судьба*.

Это действительно была судьба. В это лето их отношения с Любовью Дмитриевной полны неопределенности. Тайное взаимное расположение — и очень сдержанное общение. Она чувствует, что Блок окружает ее «кольцом внимания», но боится о своих чувствах «проговориться» даже взглядом: «Я смотрела всегда только внешне-светски,

и при первой попытке встретиться по-другому мой взгляд — уклоняла его». Ему кажется, что Любовь Дмитриевна холодна и равнодушна.

Но помимо обычного общения было и театральное. В Боблове были поставлены отрывки из шекспировского «Гамлета», сцены из «Горе от ума» и «Бориса Годунова». (Кроме Блока и Любви Дмитриевны, в спектакле участвовали внучатые племянницы Дмитрия Ивановича Менделеева Серафима Дмитриевна и Лидия Дмитриевна Менделеевы.)

«Гамлет», который произвел на зрителей наиболее сильное впечатление, сблизил и Гамлета-Блока с Любой-Офелией. Признание об этом — в поздних воспоминаниях Любви Дмитриевны:

«Мы были уже в костюмах Гамлета и Офелии, в гриме. Я чувствовала себя смелее. Венок, сноп полевых цветов, распущенный напоказ всем плащ золотых волос, падающих ниже колен... Блок в черном берете, колете, со шпагой. Мы сидели за кулисами в полутайне, пока готовили сцену. Помост обрывался. Блок сидел на нем, как на скамье, у моих ног, потому что табурет мой стоял выше, на самом помосте.

Мы говорили о чем-то более личном, чем всегда, а главное, жуткое — я не бежала, я смотрела в глаза, мы были вместе, мы были ближе, чем слова разговора...»

Потом от сеного сарая (это и был театр) они шли к дому, под горку. Молоденькие березки и елочки, черная августовская ночь, необычно крупные звезды...

«Как-то так вышло, что еще в костюмах (переодевались дома) мы ушли с Блоком вдвоем в кутерье после спектакля и очутились вдвоем Офелией и Гамлетом в этой звездной ночи. Мы были еще в мире того разговора, и не было странно, когда прямо перед нами в широком небосводе прочертил путь большой, сияющий голубизной, метеор».

Эта падающая звезда, прочертившая небо 1 августа 1898, появилась уже в стихотворении, написанном на следующий день («Я шел во тьме к заботам и веселью...»). И позже падающие звезды будут встречаться в поэзии Блока неоднократно, часто приобретая символические черты.

Но лето 1898 принесло не только чистую юношескую любовь, но и дружбу. После спектаклей в Боблове Блок приезжает в Дедово, в имение своих родственников Соловьевых. Здесь он снова на любительской сцене, играет в любительских постановках из «Бориса Годунова», из «Орлеанской девы». В лице Михаила Сергеевича Соловьева (брата знаменитого философа) и его жены Ольги Михайловны, двоюродной сестры матери, он находит людей, которым суждено сыграть очень важную роль в его поэтическом возмужании.

Тринадцатилетний Сережа Соловьев от Блока в восторге. В тетради, куда он вписывает свои сочинения и сочинения знаменитого дяди, Владимира Соловьева, появляются стихи Александра Блока.

24 августа 1898 Блок вернется в Петербург. А через три дня Ольга Михайловна пишет из Дедова Александре Андреевне: «Скажи Саше, что я очень благодарю его за стихи и очень бы желала продолжения, мне очень интересно, как это пойдет дальше...»

В семье Соловьевых завязывается тот узел судеб, который сведет воедино творчество Владимира Соловьева, жизнь Блока, Любви Дмитриевны, Сережи Соловьева и Бориса Бугаева (впоследствии — Андрея Белого).

«Мистика начинается»

После лета 1898 в жизни Блока наступает время неопределенности. Если бы не огромное количество стихов, написанных им в 1898–1900, можно было бы подумать, что эти годы прошли для него даром. На самом деле его внутренняя жизнь становится важнее внешней биографии.

Он становится студентом Петербургского университета. Поступает на юридический факультет, не то следуя тайному желанию отца, не то предполагая (как позже в письме отцу же и признается), что здесь учиться будет много легче, нежели на других факультетах. И уже скоро он почувствует свою чуждость юридическим и экономическим

наукам, не находя в себе достаточно сил, чтобы отдалиться учебе. На втором курсе останется на второй год и в сентябре 1901 переведется на филологический факультет по славяно-русскому отделению, потеряв три года.

У него сохраняются сложные отношения с Садовской, но мечтами он возвращается к той, которая запечатлелась в его памяти в образе Офелии. Лето 1899 напоминало предыдущий год лишь внешне. В Боблове много ставили Пушкина (это был год 100-летия поэта), все так же было много театра, но расположение Блока к Любови Дмитриевне наталкивалось на ее холодную замкнутость. 4 июня 1899 помечено стихотворение со строками:

Она, как прежде хороша...
Но лунный блеск холодной ночи —
Ее остывшая душа.

«Помню ночные возвращения шагом, — запишет Блок через много лет, — осыпанные светляками кусты, темень непроглядную и суровость ко мне Любови Дмитриевны».

Он много ездит верхом. В набросках к поэме «Возмездие» в рассказе о жизни героя воспоминания об этих поездках, с которыми поэт вдыхал пространство родных полей, холмов, лесов:

«Пропадая на целые дни — до заката, он очерчивает все большие и большие круги вокруг родной усадьбы. Все новые долины, болота и рощи, за болотами опять холмы, и со всех холмов, то в большем, то в меньшем удалении — высокая ель на гумне и шатер серебристого тополя над домом».

Расширяется и круг его чтения. Блоку попался старый номер «Северного вестника» с повестью Зинаиды Гиппиус «Зеркала». До сих пор он мало был знаком с новейшими направлениями в литературе. Повесть произвела впечатление. Своеобразным поэтическим отзывом на нее стало стихотворение «Кошмар»: «леденеющая» ночь, пробуждение, пустая и «безмолвная» стена, а на ней — «полные скорби и ужаса очи».

В Петербурге ему кажется, что отношения с Любовью Дмитриевной уже в прошлом. В дневнике 1918 он вспомнит о последнем объяснении с К. Садовской и заметит: «Мыслью я, однако, продолжал возвращаться к ней, но непрестанно тосковал о Л.Д. Менделеевой».

В конце 1899 появится стихотворение, название которого «Dolor Ante Lucem» («Предрассветная тоска») даст имя его ранней лирике (с 1897 по 1900) «Ante Lucem» («До света»). В стихотворении запечатлелись самые темные часы суток и самое темное время в году. Под стать им мысли поэта:

Каждый вечер, лишь только погаснет заря,
Я прощаюсь, желанием смерти горя,
И опять, на рассвете холодного дня,
Жизнь охватит меня и измучит меня!

Он еще не знал, что несостоявшиеся отношения с Менделеевой, предрасветное стихотворение и знакомство с новейшей литературой — это не случайные вехи биографии, но знаки судьбы.

Что-то тайно-значительное ощутил он и в феврале 1900, когда на похоронах дальней родственницы увидел Владимира Соловьева. В статье «Рыцарь-монах», написанной более чем через десять лет, он вспомнит и редкий снежок, и худую, высокую фигуру мыслителя, странно непохожую на всех окружающих. Вспомнит и случайный взгляд Соловьева.

В этой «бездонной синеве» светились «полная отрешенность и готовность совершить последний шаг»; то был уже чистый дух: точно не живой человек, а изображение: очерк, символ, чертеж. Одиноким странником шествовал по улице города призраков в час петербургского дня, похожий на все остальные петербургские часы и дни. Он медленно ступал за неизвестным гробом в неизвестную даль, не ведая пространств и времен».

Для статьи Блок немного подретушировал свое воспоминание. В письме Г. Чулкову, которое Блок написал за 5 лет до этой статьи, то же воспоминание, но чуть иная обстановка и насколько иначе расставлены акценты!

«Помню я это лицо, виденное однажды в жизни на панихиде у родственницы. Длинное тело у притолоки, так что целое мгновение я употребил на поднимание глаз, пока не стукнулся глазами о его глаза. Вероятно, на лице моем выразилась душа, потому что Соловьев тоже взглянул долгим синесерым взором. Никогда не забуду — тогда и воздух был такой. Потом за катафалком я шел позади Соловьева и видел старенький желтый мех на несуразной шубе и стальную гриву. Перелетал легкий снежок (это было в феврале 1900 года, в июле он умер), а он шел без шапки, и один господин рядом со мной сказал: «Экая орясина!» Я чуть не убил его. Соловьев исчез, как появился, незаметно, на вокзале, куда привезли гроб, его уж не было».

Взгляд Соловьева *не был случайным*. Что-то он увидел в юноше Блоке.

Через год с небольшим, получив в подарок от матери книгу стихотворений Владимира Соловьева, Блок прочитает строки, в которых уловит что-то интимно-родственное собственным таинственным и мучительным переживаниям:

Милый друг, иль ты не видишь,
Что все видимое нами —
Только отблеск, только тени
От незримого очами?

Прочитает Блок и поэму «Три свидания», стихотворное признание Соловьева о видении, посетившем его в египетской пустыне и ставшем главным событием жизни:

И в пурпуре небесного блистанья
Очами, полными лазурного огня,
Глядела ты, как первое сиянье
Всемирного и творческого дня.

Все видел я, и все одно лишь было —
Один лишь образ женской красоты...
Безмерное в его размер входило, —
Передо мной, во мне — одна лишь ты.

«Подруга вечная», «София Премудрость Божия», «Вечная женственность», «Жена, облеченная в солнце» и множество других соловьевских образов-понятий, пришедших из Священного писания, гностических учений и собственного мистического опыта, скоро станут для Блока и его товарищей Андрея Белого и Сергея Соловьева почти родной речью. И если Андрей Белый и Сергей Соловьев будут много штудировать философа и религиозного мыслителя Соловьева, то для Блока он останется дорог как поэт, и еще больше — как личность, знаменовавшая собой предощущение нового, страшного и тревожного времени.

Пока же для начинающего поэта этот эпизод на похоронах был лишь предвестием будущей, духовной встречи, когда самого мыслителя уже не будет в живых.

Летом 1900 в Боблове он принял участие только в одном водевиле. Репетировали и «Снегурочку», где Блок должен был выступить в роли Мизгиря, Снегурочкой же была Любовь Дмитриевна. Но репетиции так и не закончились спектаклем. Актерство отходит от Блока...

Теперь он остывает к карьере актера. Зато в жизнь входит что-то новое. В дневнике 1918 Блок вспоминает: «Начинается чтение книг, история философии. Мистика начинается. Средневековый город Дубровской березовой рощи».

Дорога из Шахматова в Боблово вела мимо деревни Дубровки, возле которой и находилась эта роща. Стихотворение, написанное 10 июня 1900, — свидетельство этого видения, когда за деревьями поэт не видит леса, но видит древний город:

На небе зарево. Глухая ночь мертва.
Толпится вокруг меня лесных деревьев громада,
Но явственно доносится молва
Далекого, неведомого града.

Ты различишь домов тяжелый ряд,
И башни, и зубцы бойниц его суровых,
И темные сады за камнями оград,
И стены гордые твердынь многовековых...

В биографии Блока отчетливо видны судьбоносные мгновения. Такой была встреча с Любовью Дмитриевной летом 1898. Таковой была и безмолвная встреча взглядов известного философа и юного поэта. Таковой стала и обретенная способность «двойного зрения»: Блок все отчетливей и отчетливей начинает за планом реальным угадывать другой мир.

«Стихи о Прекрасной Даме»

Из Шахматова Блок вернулся в Петербург 7 сентября вместе с матерью. С Любовью Дмитриевной, кажется, они расходятся уже окончательно. Сама героиня ранней лирики Блока вспоминала об этом: «К разрыву отношений, произошедшему в 1900, осенью, я отнеслась очень равнодушно. Я только что окончила VIII класс гимназии, была принята на Высшие курсы». Лекции профессоров, которые она посещала, увлекли. Менделеева знакомится с курсистками, посещает концерты, после которых «начинались танцы в зале»... Для нее началась совсем новая жизнь. «О Блоке я вспоминала с досадой, — пишет Любовь Дмитриевна через многие годы. — Я помню, что в моем дневнике были очень резкие фразы на его счет, вроде того, что “мне стыдно вспоминать свою влюбленность в этого фата с рыбым темпераментом и глазами...” Я считала себя освободившейся».

С ним же происходит что-то чрезвычайное. В дневнике 1918 об этом времени несколько загадочных фраз:

«Она продолжает медленно принимать неземные черты... К концу 1900 года растет новое... 25 января — гулянье на Монетной к вечеру в совершенно особом состоянии. В конце января и начале февраля (еще — синие снега около полковой церкви, — тоже к вечеру) явно является Она. Живая же оказывается Душой Мира (как определилось впоследствии), разлученной, плененной и тоскующей (стихи 11 февраля, особенно — 26 февраля, где указано ясно Ее *стремление* отсюда для встречи “с началом близким и чужим” (?)) — и Она уже в дне, т. е. за ночью, из которой я на нее гляжу. То есть Она предана какому-то стремлению и “на отлете”, мне же дано только смотреть и благословлять отлет».

В таком состоянии я встретил Любовь Дмитриевну на Васильевском острове...»

Есть у Пушкина стихотворение «Жил на свете рыцарь бедный...», которое многое объясняет в мироощущении раннего Блока.

Он имел одно виденье
непостижное уму, —

этими пушкинскими строками поэт мог бы сказать о самом себе. Герой пушкинского стихотворения — рыцарь, избравший Дамой Сердца Богородицу:

Полон чистою любовью,
Верен сладостной мечте,
А. М. D. своею кровью
Начертал он на щите.

Это в записях для себя Блок по памяти цитирует Пушкина, но вместо «А. М. D.» (то есть «Ave, Mater Dei» — «Радуйся, Матерь Божия») ставит «Л. Д. М.» — инициалы дамы *своего* сердца.

Но Любовь Дмитриевна не совпадает «без остатка» с «Ты» из блоковской лирики. Она — это земное воплощение того неземного образа, который является поэту.

Блока не случайно причисляли к великим духовидцам, его видения подобны видениям знаменитых мистиков прошлых эпох (по времени к нему всего ближе стоит

Владимир Соловьев). Он и стремится оставить свидетельство о своих видениях в стихах. И поначалу делает это не только без каких-либо влияний, но и без точных представлений, как ЭТО происходило у других. С поэзией Соловьева по-настоящему он познакомится чуть позже, в апреле (книжку стихов философа подарит ему мать), и будет поражен совпадением переживаний знаменитого мыслителя со своими собственными. Еще позже он коснется философских работ Соловьева, но стихи покажутся значительнее. Из-под пера самого Блока начиная с 25 января 1901 выходит свидетельство за свидетельством переживаний необыкновенных. И говорить об этом он может только стихами.

«И тихими я шел шагами, провидя вечность в глубине...», «Ветер принес издали звучные песни твои», «Песни твоей лебединой звуки почудились мне», «Народы шумные кричат... Она молчит, — и внемлет крикам — и зрит далекие миры...», «Боже! Боже! О, поверь моей молитве, в ней душа моя горит!», «Ты, в алом сумраке ликуя, ночную миновала тень», «Близко ты, или далече, затерялась в вышине?», «Зажглось святилище Твое»...

От одного стихотворения к другому тянется пунктиром сюжет: «Она» приближается. «Живая же оказывается Душой Мира», — поясняет Блок в дневнике 1918 года и тем свидетельствует: юноша Блок ждал явления Вечной Женственности или Души Мира, которая должна воплотиться в земную девушку, и воплотилась в некую «Л. Д. М.». Три буквы, которые можно прочесть и как «Любовь Дмитриевна Менделеева», и как: «Любовь — Душа Мира».

«К весне, — пояснительная запись в том же дневнике, — начались хождения около островов и в поле за Старой Деревней, где произошло то, что я определял как Видения (закаты)».

Образ его «Подруги Вечной» светится красками зорь. В его обращении к Ней часты «огненные» эпитеты. Часто он и самим именем подчеркивает Ее «лучезарность»: «Дева — Заря — Купина».

Начало века поразило не одного Блока своими необычными зорями. В воздухе висело предчувствие скорых перемен. Андрей Белый в «Воспоминаниях о Блоке» писал о «психической атмосфере» рубежа веков:

«...До 1898 дул северный ветер под сереньким небом. “Под северным небом” — заглавие книги Бальмонта; оно — отражает кончавшийся девятнадцатый век; в 1898 году — подул иной ветер; почувствовали столкновение ветров: северного и южного; и при смешении ветров образовались туманы: туманы сознания».

В 1900–1901 годах очистилась атмосфера; под южным ласкающим небом начала XX века увидели мы все предметы иными; Бальмонт уже пел, что “Мы будем, как солнце”. А. Блок, вспоминая те годы впоследствии строчкой “И — зори, зори, зори”, охарактеризовал настроение, охватившее нас; “зори”, взятые в плоскости литературных течений (которые только проекции пространства сознания), были зорями символизма, взошедшими после сумерек декадентских путей, кончающих ночь пессимизма...»

Еще одно сходное признание мы читаем в черновиках к автобиографии Максимилиана Волошина: «то же, что Блок в Шахматовских болотах, а Белый у стен Новодевичьего монастыря, я по-своему переживал в те же дни в степях и пустынях Туркестана, где водил караваны верблюдов».

Необыкновенные закаты начала века легко объяснить взрывом вулкана на о. Мартиника. Косые закатные лучи преломлялись странным образом, проходя сквозь пепел, рассеянный в атмосфере. Но мог ли любой из «чувствовавших» принять такое объяснение всех своих тревог и предчувствий? Не был ли и сам вулканический взрыв предзнаменованием иных, более серьезных потрясений?

В литературе, в музыке, в живописи, в самом сознании людей конца XIX века преобладали сине-серые цвета, пессимизм, буддийские настроения, ощущение бессмысленности жизни. На исходе столетия стал ощутим разрыв времен. С началом века мрачный дух Шопенгауэра сменился влиянием экстатичного Ницше, во всем чувствовалось веяние нового времени.

«Появились вдруг “видящие” среди “невидящих”, — вспоминал Белый, — они узнавали друг друга; тянуло делиться друг с другом непонятным знанием их; и они тяготели друг к другу, слагая естественно

братство зари, воспринимая культуру особо: от крупных событий до хроникерских газетных заметок; интерес ко всему наблюдаемому разгорался у них; все казалось им новым, охваченным зорями космической и исторической важности: борьбой света с тьмой, происходящей уже в атмосфере душевных событий, еще не сгущенных до явных событий истории, подготавливающей их; в чем конкретно события эти, — сказать было трудно: и “видящие” расходились в догадках: тот был атеист, этот бы теософ; этот — влекся к церковности, этот — шел прочь от церковности; соглашались друг с другом на факте зари: “нечто” светит; из этого “нечто” грядущее развернет свои судьбы».

Внешняя жизнь Блока идет своим чередом. В мае 1901 он знакомится с творчеством символистов по альманаху «Северные цветы», его особенно волнуют стихи Валерия Брюсова. Лето проводит в Шахматове (поездки в Боблово знаменуются не просто возрождением прежних отношений с Любовью Дмитриевной, но в них появляется что-то новое, по более позднему признанию поэта — «Л. Д. проявляла иногда род внимания ко мне. Вероятно, это было потому, что я *сильно светился*»). Посещает поэт и Дедово, семейство Соловьевых, много беседует с Михаилом Сергеевичем и братом Сережей, получив на прощание только что вышедший первый том сочинений покойного Владимира Соловьева.

Осенью сплетаются в один узел несколько важных событий. Блок прекращает занятия на юридическом факультете и переводится на филологический. Тогда же на улице он случайно встретил Любовь Дмитриевну. С этого момента они вместе появляются в соборах Петербурга, и эти соборы переходят в поэзию Блока. В сентябре узнает он и о читателях своих стихов. Ольга Михайловна пишет матери поэта, сколь сильное впечатление произвела его лирика на их близкого знакомого Борю Бугаева.

По совету Соловьевой Блок решается послать свои стихи Брюсову. По неясной причине они так и не найдут своего адресата. Но появление имени нового поэта на страницах новейших изданий уже предопределено.

С 1902 Блок все более сближается с современной литературой. Пытается писать статью о новейшей русской поэзии, знакомится с виднейшими представителями нового направления в литературе: Зинаидой Николаевной Гиппиус и Дмитрием Сергеевичем Мережковским. В августе он пошлет свои стихи в издательство «Скорпион», т. е., в сущности, опять Валерию Брюсову, поскольку тот в издательстве играл ведущую роль. С октября начнет посещать собрание сотрудников журнала «Мир искусства», тогда же отдаст стихи в нарождающийся журнал Мережковских «Новый путь».

Но 1902 год приносит и первые утраты: в июле Блоку суждено пережить смерть дедушки Андрея Николаевича Бекетова, в октябре — не сумевшей пережить эту кончину бабушки Елизаветы Григорьевны.

Душу поэта посещают и иные тревоги. Блок вдруг остро почувствует разницу между крестьянством и своим сословием, когда летом до Шахматова дойдут слухи о бунтах в Пензенской и Саратовской губерниях. С напряжением он будет внимать песне мужиков в пору сенокоса. Позже вспомнит:

«Без усилия полился и сразу наполнил и овраг, и рошу, и сад сильный серебряный тенор. За сиренью, за туманом ничего не разглядеть, по голосу узнаю, что поет Григорий Хрипунов; но я никогда не думал, что у маленького фабричного, гнилого Григория такой сильный голос.

Мужики подхватили песню. А мы все страшно смутились.

Я не знаю, не разбираю слов; а песня все растет. Соседние мужики никогда еще так не пели. Мне неловко сидеть, щекочет в горле, хочется плакать. Я вскочил и убежал в далекий угол сада».

В конце августа Блок из Шахматова едет в Москву. Третьяковская галерея с картинами Васнецова, Нестерова, Репина, Левитана, храм Василия Блаженного, Кремль, храм Христа Спасителя, Александровский сад, Новодевичий монастырь (с могилами историка С.М. Соловьева и его сына В.С. Соловьева) — все это звучит в его душе единым торжественным аккордом. Память о «московских святынях» он привезет в Шахматово и после — в Петербург.

И за всеми событиями, огорчениями, надеждами шла его тайная жизнь, его странные обращения к Ней, к «Душе мира», к «Прекрасной Даме» к «Деве, Заре, Купине».

«Лучезарными» видениями окрашена вся его жизнь начала 1900-х. И Любовь Дмитриевну он видит сквозь призму своей поэзии. Он стремится к ней, наталкивается на неприступную суровость, пишет письма — отчаянные письма на том же «неземном» языке:

«...Моя жизнь, т. е. способность жить, немыслима без Исходящего от Вас ко мне некоторого непознанного, а только еще смутно ощущаемого мной Духа». И еще: «...Я стремлюсь давно уже как-нибудь приблизиться к Вам... Разумеется, это и дерзко и в сущности даже недостижимо... однако меня оправдывает продолжительная и глубокая вера в Вас (как в земное воплощение пресловутой Пречистой Девы или Вечной Женственности, если Вам угодно знать)».

Любовь Дмитриевна чувствует, что Блок видит в ней что-то большее, чем она есть, что-то невероятно возвышенное, и это пугает ее. Его же переживания — и земные, и неземные — столь напряженны, что он начинает думать о самоубийстве.

7 ноября 1902 с револьвером в кармане Блок пошел на решительное объяснение.

«В каких словах я приняла его любовь, что сказала — не помню, — вспоминала Любовь Дмитриевна, — но только Блок вынул из кармана сложенный листок, отдал мне, говоря, что если б не мой ответ, утром его уже не было бы в живых».

На листке было написано:

«В моей смерти прошу никого не винить. Причины ее вполне “отвлеченны” и ничего общего с “человеческими” отношениями не имеют. Верую во едину святую соборную апостольскую Церковь. Чаю Воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.

Поэт Александр Блок».

«Стихи о Прекрасной Даме» — молитвы и заклинания. Не случайно к одному из самых важных поэтических свидетельств «Ее явления» он возьмет эпиграф из «Апокалипсиса»: «И Дух и Невеста говорят: Прииди». В этом стихотворении все религиозные ожидания Блока и крайний их накал:

Верю в Солнце Завета,
Вижу зори вдали.
Жду вселенского света
От вечерней земли.

Георгий Адамович в статье «Наследие Блока», написанной спустя десятилетия, скажет о русских символистах:

«Если бы тогда Блоку, Белому или Вячеславу Иванову сказали, что впереди революция, что она, а ничто другое, составляет содержание их предчувствий, и даже эти предчувствия оправдывает, вероятно, они такое истолкование отвергли бы. Революция пусть и очень большое событие, но все же не такое, какого они, казалось, ждали: не того характера, не того значения! Им нужно было бы что-нибудь вроде Второго Пришествия или светопреставления, чтобы соблюден был уровень надежд, волхвований и заклинаний...»

Они действительно ждали не революции, или, по крайней мере, не только революции, но именно «вселенского света». И когда революция придет, они тоже увидят в ней не просто переворот, но — крушение старого мира. «Она», явившаяся Блоку, и была знаменем грядущих перемен. А то, что переменны неизбежны, говорило само Ее явление:

Непостижного света
Задрожали струи.
Верю в Солнце Завета,
Вижу очи Твои.

Если бы, получив согласие Любви Дмитриевны, Блок знал, что уже совсем скоро его ждут новые потрясения...

Конец 1902 года полон умиротворения. 23 декабря Блок пишет письмо Михаилу Сергеевичу Соловьеву. Здесь любовь к Москве («ваша Москва чистая, белая, древняя»), воспоминания об осенних прогулках и о вечернем Новодевичьем монастыре, где он посетил могилу Владимира Соловьева и невольно вспомнил его строки («еще за прудами вились галки и был “гул железного пути”, а на могиле — неугасимая лампадка и лилии, и проходили черные монахи»). Некоторые строки письма, — если знать, что придется

пережить поэту за месяц, — нельзя читать без внутренней дрожи: «Из вашего письма и посылки заключили, что у вас пока все благополучно...», и другие: «...действительно, страшно до содрогания “цветет сердце” Андрея Белого. Странно, что я никогда не встретился и не обмолвился ни единым словом с этим до такой степени близким и милым мне человеком».

Январь 1903 для Блока полон событий. 2 числа он сделал официальное предложение Любови Дмитриевне Менделеевой и получил согласие ее родителей. 3-го он решается написать письмо столь духовно близкому Борису Бугаеву (Андрею Белому). 4-го, еще не зная ничего об этом письме, Белый пишет Александру Блоку. Получив первое послание, каждый из них тут же садится за ответ.

Язык их переписки для непосвященных полон тумана и невнятицы. Сами они друг друга понимают с полупамятью. Позже Белый скажет об этих письмах:

«Подчеркиваю заслоненный от всех лик тогдашнего Блока — глубокого мистика; Блока такого не знают; меж тем, без узнания Блока сколь многое в блоковской музе звучит по-иному... Письма Блока — явление редкой культуры: и некогда письма эти будут четвертою книгой его стихов».

Но уже в первых письмах проступает и различие: Белый — слишком «теоретик»; Блок — человек, остро чувствующий «Непостижную». Белого он призывает:

«Пора угадать имя “Лучезарной Подруги”, не уклоняйтесь и пронесите знамя, веющее и *без складок*. В складках могут “прятаться”. От складок страшно. Скажите прямо, что “все мы изменимся скоро, во мгновение ока...”»

Бурный диалог прерывается неожиданным событием. 16 января скорострительно скончался Михаил Сергеевич Соловьев. В ту же ночь в состоянии нервно-психического срыва застрелилась Ольга Михайловна.

Эти две смерти стали потрясением и для их сына Сережи, и для Андрея Белого, и для многих знакомых.

Блок узнал о трагическом событии из письма Зинаиды Гиппиус. Пришел к матери, встав на колени, молча обнял. «Эта смерть, — вспоминает его тетка М.А. Бекетова, — огорчила всех нас, но для него и для его матери она была настоящим ударом».

17 января 1903 Блок пишет Белому:

«Милый и дорогой Борис Николаевич. Сегодня получил Ваше письмо. Тогда же узнал все. Обнимаю Вас. Целую. Верно, так надо. Если не трудно, напишите только несколько слов — каков Сережа? Милый, возлюбленный — я с Вами. Люблю Вас. Глубоко преданный Вам. *Ал. Блок*».

19 января, после панихиды, Белый пишет ответ Блоку (после пережитого в словах его ясно ощутима мистическая экзальтация):

«Все к лучшему. Все озарено и пронизано светом, и вознесено. На улицах вихрь радостей — метель снегов. Снега. С восторгом замели границу жизни и смерти. Времена исполняются, и приблизились сроки...»

22 января Блок напишет стихотворение «Отшедшим». Чувство внезапной утраты здесь окончательно просветлело, стало певучим, протяжным:

Здесь тихо и светло. Смотри, я подойду
И в этих камышах увижу все, что мило.
Осиротел мой пруд. Но сердце не остыло.
В нем все отражено — и возвращений жду...

В стихотворении «Здесь память волны святой...», помеченном 31 января, сходное размышление обращено к себе:

Когда настанет мой час,
И смолкнут любимые песни,
Здесь печально скажут: «Угас»,
Но Там прозвучит: «Воскресни!»

В самом конце этого «месяца потрясений», 30 января, в Петербурге на вечере журнала «Новый путь» Блок встретился с Валерием Брюсовым. Личное знакомство

ускорило его публикацию в альманахе «Северные цветы». Уже 1 февраля Блок посылает Брюсову стихи и вместе с ними письмо:

«Посылаю Вам стихи о Прекрасной Даме. Заглавие ко всему отделу моих стихов в “Северных цветах” я бы хотел поместить такое: “О вечно-женственном”».

В марте состоялся наконец литературный дебют Блока. В 3-м номере журнала «Новый путь» появились 10 стихотворений с общим названием «Из посвящений», следом — 3 стихотворения опубликованы в «Литературно-художественном сборнике» студентов Петербургского университета и еще 10 стихотворений — в альманахе «Северные цветы». Брюсов не захотел «соловьевского» названия для цикла и дал другое, взятое из стихотворения «Вхожу я в темные храмы...». Это название станет позже и названием книги: «Стихи о Прекрасной Даме».

Первый не критический, но стихотворный отклик на поэзию Блока (как и на чаяния Андрея Белого и Сергея Соловьева) даст тот же Брюсов. Весной 1903 после петербургских разговоров о новой поэзии, сидя в вагоне поезда в сторону Москвы, он напишет стихотворение «Младшим»:

Они Ее видят. Они Ее слышат.
С невестой жених в озаренном дворце!
Светильники тихое пламя колышат,
И отсветы радостно блещут в венце.

.....
Там, там, за дверьми — ликование свадьбы,
В дворце озаренном с невестой жених!
Железные болты сломать бы, сорвать бы!
Но пальцы бессильны и голос мой тих.

Как все перемешано в чувствах Брюсова! И трепет иронии, и легкая зависть, и горькое чувство: «мне не дано». Блок к стихотворному признанию Брюсова отнесется с недоверием, в мае 1904 занесет в записную книжку: «Брюсов скрывает свое знание о Ней».

Итак, Блок входит наконец в литературную среду. Но предпочитает ей узкий круг близких людей. В марте он встретит друга на долгие годы.

Евгений Павлович Иванов в истории русской литературы фигура проходная. В жизни Блока — человек особый. Он обладал такими качествами, которые Блок ценил выше прочих достоинств. Его характеристики друга — в письмах. «В Петербурге есть великолепный человек: Евгений Иванов. Он юродивый, нищий духом, потому будет блаженным», — скажет он Белому в 1904. В 1908 напишет жене, что верит «до глубины одному только человеку — Евгению Иванову».

Еще более ясным становится отношение Блока к этому человеку из его писем самому Евгению Иванову:

«Мне редко что в современном так близко *по способу выражения и восприятия*, как Ваши слова...» (15 июня 1904). И более позднее признание: «С тобой — легко и просто... С «чужими» — почти всегда становишься оборотнем, раздуваешь свою тоску до легкости отчаянья и смеха; после делается еще тоскливей. С тобой — плачешь, когда плачется, веселишься, когда весело» (6 августа 1906).

Летом 1903 он опять сопровождает мать на лечение в Бад-Наугейм, как шесть лет назад. Но сейчас его мысли целиком заняты Л.Д. Менделеевой. Перед отъездом за границу он шлет приглашение Сергею Соловьеву и Андрею Белому. Их он хочет видеть шаферами на своей свадьбе. Внезапная кончина отца Белого, Николая Васильевича Бугаева, ломает все планы блоковского «друга по переписке». Сережа долго колеблется: что-то в новых стихах и письмах Блока его настораживает. Он пишет отказ, ссылаясь на «состояние нервов», но в последний момент срывается с места и приезжает в Шахматово незадолго до свадьбы.

17 августа 1903, день венчания, начался с дождя. Но потом стало потихоньку проясняться. Венчались в церкви села Тараканова, которое стояло между Шахматовом

и Бобловом. Обряд был по-старомодному чист, строг, торжествен. Молодым, вышедшим из церкви, крестьяне по давнему обычаю поднесли хлеб-соль и пару гусей в алых лентах... В воздухе было что-то особенное, молитвенное. Сереже Соловьеву свадьба увиделась настоящей мистерией, а невеста — образом из блоковских стихов:

Месяц и звезды в косах,
Выходи, мой царевич приветный».

Настроение этого дня, его тихий восторг словно перенесется в январскую Москву 1904, когда Александр Блок и Любовь Дмитриевна наконец-то встретились с Андреем Белым.

«Будет так много хорошего в воспоминании о Москве»

Москва ждала Блока. Валерий Брюсов затевал новый журнал «Весы», который призван был сыграть важнейшую роль в истории русского символизма. На его страницах будут печататься виднейшие представители этого направления. Получил предложение от Брюсова и Александр Блок. К тому же московское издательство «Гриф» было не прочь издать сборник его стихотворений. И все же главной представлялась еще одна цель поездки, быть может, самая важная: Андрей Белый и круг его единомышленников, «Аргonautов», в большинстве — студентов Московского университета. Название кружка родилось из образов ранней поэзии Белого:

Шар солнца почил.
Все небо в рубинах
Над нами.
На горных вершинах
Наш Арго,
Готовясь лететь, золотыми крылами
Забил.

Они знают стихи Блока, читают их с упоением, заучивают наизусть.

Предстоящая встреча пугает и Белого, и Блока: смогут ли они говорить с тем же редким пониманием, как в письмах? Не возникнет ли при личной встрече что-нибудь лишнее?

Но вся официальность этой встречи, как и все возможные опасности улетучились быстро. Поначалу каждый из них испытал нечто похожее на разочарование. Белому Блок показался не похожим на автора стихов, столь его взволновавших:

«Не было в нем никакой озаренности, мистики, сентиментальности «рыцаря Дамы», — статный, крепкий, обветренный — «не то “Молодец” сказок; не то — очень статный военный...»

Блок сразу же ощутил, что с Белым ему *трудно говорить*.

Их внешнее несходство бросалось в глаза. В своих воспоминаниях о Блоке Зинаида Гиппиус рисует их двойной портрет контрастными красками:

«Серьезный, особенно неподвижный, Блок — и весь извивающийся, всегда танцующий Боря. Скупые, тяжелые, глухие слова Блока — и бесконечно льющиеся водопадные речи Бори, с жестами, с лицом вечно меняющимся, — почти до гримас. Он то улыбается, то презабавно и премило хмурит брови и скашивает глаза. Блок долго молчит, если его спросишь. Потом скажет “да”. Или “нет”. Боря на все ответит непременно: “Да-да-да”... и тотчас унесется в пространство на крыльях тысячи слов. Блок весь твердый, точно деревянный или каменный. Боря весь мягкий, сладкий, ласковый...»

Но кроме внешних различий была глубинная, как скажет позднее Блок, «*таинственная близость*». И когда, встретившись, они ощутили тайное свое родство, все внешние несоответствия и препятствия рухнули.

Блоки пробыли в Москве две недели. Лучшее и счастливейшее время — вчетвером: Блок, Белый, Сергей Соловьев и Любовь Дмитриевна.

Белого Блок поразила молчаливостью, жесткостью и точностью редких фраз и совершенным неприятием фальши.

Среди своих он чувствовал себя хорошо. Даже ироничные и эксцентричные выходки Сергея Соловьева, как и всяческие дурачества, были ему по-своему милы.

«...Едем на конке в Новодевичий монастырь, – пишет Блок письмо-отчет матери и не без улыбки продолжает: — Сережа кричит на всю конку, скандалит, говоря о воскресении нескольких мертвых на днях, о том, что анархист двинул войска из Бельгии. Говорим по-гречески. Все с удивлением смотрят».

Даже фанатичное следование Вл. Соловьеву и вообще «теоретическую» чрезмерность троюродного брата Блок готов терпеть. В Любове Дмитриевне Сережа с редким упорством желал видеть земное воплощение «Софии Премудрости Божией», а в них троих — братский союз «посвященных»; мечтая о том, что, быть может, в будущем преобразовании России им всем придется играть исключительную роль.

Хотя между любой идеей и ее воплощением есть определенный зазор, несоответствие, юный Сергей Соловьев готов был довести отвлеченную идею до буквальности. Именно поэтому, когда Блок почувствует, что «это все не то», и не захочет лгать ни себе, ни другим, его менее трезвые, «больные идеей» друзья воспримут это как отступничество. Но пока разнообразие впечатлений и сама атмосфера их «братства» затушевывали все возможные разногласия.

К узкому кругу своих могли приблизиться и другие люди, например, товарищ Белого А. Петровский. Но уже Эллис Блока тяготил и своей энергией, и *тоном*, который Блоку казался фальшивым.

Лев Львович Кобылинский (Эллис — его псевдоним) был человеком крайностей: то марксист, то монархист, то террорист, то католик. В сущности, это был такой же переменчивый человек, как и Андрей Белый. Но во взвинченном, неуправляемом, иногда «лживом до искренности» Боре не было *фальши*, вся «обманчивость» была его естественном. В Эллисе была какая-то «накрученность», была при всем его особом, странном таланте «странного человека» неестественность, от которой Блок уставал и темнел лицом. Когда же поэт попадал на люди, подобная деланность, тайная неправда ощущались им «во всех регистрах» этих собраний.

О вечере в книгоиздательстве «Гриф» Белый и через многие годы будет вспоминать с содроганием:

«Молодые декаденты желали подладиться к “мистикам” А. Блоку и А. Белому, теософы желали показать, что и они “декаденты”, Эллис бил всех по голове Бодлером, и при этом ему казалось, что все с ним согласны. Батюшков и Эртель, впавши в мистический экстаз к часу ночи, заявили: первый — что грядет новый учитель, а второй — что мы “теургией” расплавим мир, что в этом смысле вся Москва охвачена пламенем... Тогда некий присяжный поверенный, равно далекий от искусства, теософии и мистики, громким басом воскликнул, представляясь, что и он чем-то охвачен: “Господа, стол трясется...”»

Через два года Блок нарисует злую карикатуру на подобные вечера в пьесе «Балаганчик», передавая разговор мистиков:

«Ты слушаешь?» — «Да». — «Наступит событие»... — «Ты ждешь?» — «Я жду». — «Уж близко прибытие: за окном нам ветер подал знак»... — «Ты слушаешь?» — «Да». — «Приближается дева из дальней страны...»

Белый сокрушался, ему было стыдно за москвичей и обидно: «каждый в отдельности был ведь и чуток, и тонок, а коллектив из каждого извлекал только фальшивые звуки».

Не менее тягостное впечатление произвело на Блока и другое собрание в религиозно-философском кружке, хотя здесь были люди замечательные, а в будущем известные и даже знаменитые: В. Эрн, Б. Грифцов, В. Свенцицкий, П. Флоренский. Блок, каменно промолчав вечер, выйдя на воздух, признался, что ему все крайне не понравилось.

— Люди? – невольно вырвалось у Белого.

— Нет. То, что между ними, – веско ответил Блок.

Впрочем, Блок вообще сторонился многолюдья, дичился всего постороннего. Давняя детская нелюдимость теперь обернулась нежеланием играть какие-либо навязанные извне роли. Блок был внимателен и нежен с близкими и дорогими людьми, или один на один

с собеседником. В его отношении к человеку всегда было что-то *братское*. Но не мог видеть, как начинают фальшивить люди, собравшись вместе. Потому так предпочитал одинокие прогулки. И к Шахматову был так привязан еще и потому, что оно давало спасительное уединение. (Весной 1904 он будет зазывать Белого на лето в гости: «...там хорошо, уютно и глухо».)

И все же в целом Москва оставила в душе Блока отрадные воспоминания. Все, что касалось их маленького «братства» и самого облика древней столицы, Блок принимал и жил этим. И в письме матери заметит: «будет так много хорошего в воспоминании о Москве, что я долго этим проживу». Но литературные собрания не могли не отвратить от себя, и, думая о Петербурге, он в том же письме скажет: «Видеть Мережковских слишком не хочу». То же — о знаменитых москвичах: «Пьяный Бальмонт отвратил от себя, *личность* Брюсова тоже для меня не желательна».

Последнее замечание особенно любопытно. Поскольку Брюсов-поэт оценивается им совершенно иначе.

В 1904 имя Брюсова для «младших» начинает значить очень многое. Его воздействия не минует никто из сложившегося «триумvirата».

Валерий Брюсов был старше Белого и Блока на семь лет. Его дед был крепостным, отец уже принадлежал к купеческому сословию. Жажда славы и власти привела Валерия Брюсова на литературный путь. Ради завоевания известности он не боится стать посмешищем литературной братии: в 1894 с немногочисленными соратниками выпускает сборничек модернистских стихов «Русские символисты», где играет главную роль. За ним — еще два. В предисловиях он попытался очертить основную особенность нового направления: символизм — это «поэзия оттенков», которая пришла на смену «поэзии красок».

Сборники вызвали недоумение и насмешки. Самым блестящим и беспощадным критиком оказался Владимир Соловьев. И русских символистов, и самого Брюсова он уничтожил самым страшным орудием — смехом. Его пародии на русских символистов настолько точно попали в больные места приверженцев новой поэзии, что подлинники уже нельзя было читать без улыбки.

Но результатами столь сокрушительного поражения Брюсов воспользовался как победителем. Шум вокруг странных стихов и злые насмешки над горе-поэтами не прошли даром: направление заметили, брюсовское стихотворение-однострок из третьего выпуска: «О, закрой свои бледные ноги», — стало скандально знаменитым.

Он был рожден завоевателем и вождем. Оттого в его стихах будет так много исторических лиц, знавших власть над людьми: Колумб, Ассагардон, Александр Великий и др. За скандальным дебютом в 1895 следуют сборники стихотворений с вызывающими названиями: «Chefs d'oeuvres» («Шедевры») и «Me eum esse» («Это — я»). Столкновения с литературным миром вызвали и желание четче и глубже обосновать возглавляемое им направление. Чтобы написать свои небольшие трактаты, Брюсов перечитывает целые библиотеки.

Упорству его мог позавидовать всякий. Начав как потрясатель основ, он настойчиво вгрызается в русскую и мировую культуру, начинает сотрудничать с журналом «Русский архив», где выступает уже как исследователь литературы, печатает статьи о творчестве Пушкина, Баратынского, Тютчева, завоеывая настоящую известность в литературном мире. В конце 1903 выходит очередной его сборник стихов «Urbi et Orbi» («Граду и миру»), Брюсов-поэт достигает своей вершины и широкого признания.

Через два десятилетия большинство его стихов будут казаться манерными и риторическими. Но в середине 1900-х многими, в том числе Блоком, Белым и Сергеем Соловьевым, они читались как откровение. Многие мотивы их творчества он сумел предвосхитить. А главное — книга «Граду и миру», где предстал в самых разных оттенках и символах порочный и соблазнительный мир современного города, открыла «младшим»

новые темы. Уже в конце 1903 и Блок пишет мрачное городское стихотворение «Фабрика»:

В соседнем доме окна желты.
По вечерам — по вечерам
Скрипят задумчивые болты,
Подходят люди к воротам...

С 1904 года мир современного, страшного города прочно входит в его поэзию.

Последние разговоры с Белым в Москве — о поэзии Брюсова. В письмах — опять о нем. Блок говорит о пагубном влиянии брюсовской книги на поэтическое лицо Белого, на Сережу Соловьева и — на себя самого: «...от моего имени остается разве окончание: *ок* (В.Я. Бр... — *ок!*)». И хотя уже летом Белому Блок скажет, что Брюсов не поэт, а математик, тем не менее толчок, полученный от него, был очень сильный.

Блок чувствовал исчерпанность прежней темы своей лирики. Стихи Брюсова словно подтвердили давно ощущаемое распутье. Нужно было искать новые пути. Еще более очевидным свидетельством этого стала русско-японская война, начавшаяся в 1904. Гибель броненосца «Петропавловск», потопленного японской эскадрой, потрясает Блока. В письме к Белому он признается:

«Мы поняли слишком много — и потому перестали понимать. Я не добросил молота — но небесный свод сам раскололся. И я вижу, как с одного конца ныряет и расползается муравейник пассажиров, расплюснутых сжатым воздухом в каютах, сваренных заживо в нижних этажах, скрученных неостановленной машиной (меня «Петропавловск» совсем поразил), — а с другой — нашей воли, свободы, просторов. И так везде — расколотовость, фальшивая для себя самого двуличность, за которую я бы отомстил, если б был титаном, а теперь только заглажу ее».

Все отчетливее Блок чувствует: прежнее ушло. 9 апреля он отсылает А. Белому несколько стихотворений, темы которых были навеяны январской встречей в Москве и отголосками прошлых шахматовских лет. После чего на него будто опускается немота. Стихотворение «Дали слепы, дни безгневны...» начато в 20-х числах апреля, но закончено лишь 20 мая. Стихотворение «На перекрестке...», помеченное 5 мая, закончено лишь 1 декабря.

Лето 1904 в Шахматове было необычным, тревожным. В мае выпал снег. 16 июня над Москвой и ее окрестностями прошел смерч невероятной силы. В письме Е. Иванову от 28 июня Блок запечатлел это происшествие в двух коротких, но выразительных предложениях: «Смерч московский разорил именье сестры моей бабушки, где жил С. Соловьев. Вековой сад вырван с корнями, крыши носились по воздуху».

В первой половине июля в Шахматове появляются Белый и А. Петровский. Через несколько дней приехал и Сергей Соловьев.

Блок немногословен, но в нем живет теплая дружба. Он видит, что их братству приходит конец, он — в сомнениях, он — на распутье. Но редкие, мрачные слова, которые роняет поэт, не достигают ушей товарищей. Они еще полны мистических мечтаний. Каждый жест Любови Дмитриевны — «земного воплощения Души Мира» — они стремятся шутливо истолковать в соловьевском духе, не давая ей покоя и не ощущая всей неловкости этой затеи, не чувствуя, насколько они напоминают нелепых московских мистиков на вечере издательства «Гриф».

После отъезда «мистических братьев» Блок работает над рукописью своей первой книги: «Стихи о Прекрасной Даме». Прошлое еще так близко. И уже так безвозвратно.

Осень Блок встретил в Петербурге. В октябре в издательстве «Гриф» вышла его книга. Ее не всегда могли оценить по достоинству даже люди символистского круга. Сам Блок на свое детище смотрел, как на свое прошлое.

Если художник — своего рода нерв общества, народа, человечества, то в нервной системе России начала века Блок был самым чутким нервом. Близкий ему по духу и противоположный по темпераменту Андрей Белый, намного «туманней» чувствовал то, что Блок переживал непосредственно: образ, обозначенный ими как «София Премудрость Божья», «Вечная Женственность», «Прекрасная Дама», «Душа Мира» и т. д. Образ,

получивший столько имен потому, что его трудно выразить на человеческом языке (и потому простое блоковское «Ты» с большой буквы, в котором слилось обращение к близкому существу и к Божеству, быть может, всего точнее передает это интимно-религиозное переживание).

Эпоха была пронизана особыми токами, в мистику играли многие. Играли потому, что эпоха и в самом деле была почти ирреальна: действительный мир словно истончался, предчувствие грядущих катастроф носилось в воздухе.

Подлинный мистик, духовидец Блок как никто другой почувствовал Ее приближение, Ее прибытие и Ее уход.

11 октября он подведет черту под этим прошлым:

«Дальше и нельзя ничего. Все *это* прошло, минуло, “исчерпано”».

«Менялся... состав духовного воздуха эпохи»

Когда в начале 1905 года Андрей Белый приехал в Петербург, его поразил «взбаламученный вид» столицы и тревожные разговоры, долетавшие до ушей: «Примет». — «Не примет». — «Пошли уж. С иконами!» — «Неужели же будут стрелять: по иконам!» — «Не будут...»

Было 9 января, день, который войдет в историю как «Кровавое воскресенье». Блока он застал дома, и его трудно было узнать. Никогда Белому не доводилось видеть друга столь встревоженным: быстро вскакивал, быстро расхаживал по квартире. Каждые десять минут приходили вести об убитых и задавленных. Александра Андреевна хваталась за сердце и говорила о муже: «Поймите же, Боря, что он — ненавидит все это... А должен стоять там... Присяга...» На счастье, вверенное Францу Феликсовичу подразделение охраняло мост, где обошлось без столкновений с демонстрантами.

Позже, когда Белый встретит за одним столом и Блока, и его отчима, Франц Феликсович предстанет перед ним милым и по-своему беззащитным человеком. При словах о «подлых расстрельщиках» — «опускал длинный нос, точно дятел, в тарелку». Белый, чувствуя неловкость, старается быть деликатным в разговорах о происшедшем. Блок же неумолим и беспощаден. Январем 1905 года помечено стихотворение, в котором отчетливо слышны жесткие, drobные звуки, как при движущемся строе:

Шли на приступ. Прямо в грудь
Штык наточенный направлен.
Кто-то крикнул: «Будь прославлен!»
Кто-то шепчет: «Не забудь!»

Рядом, пал, всплеснув руками,
И над ним сомкнулась рать.
Кто-то бьется под ногами,
Кто — не время вспоминать...

Когда это стихотворение вместе с еще двумя — «Барка жизни встала...» и «Вися над городом всемирным...» — появится в ноябрьском выпуске журнала «Новая жизнь», номер будет изъят цензурой.

В этот свой приезд Белый деятелен и кипуч: входит в круг Мережковских, знакомится с петербургскими литераторами, посещает собрания на квартире Розанова, на квартире Сологуба, в редакции журнала «Мир искусства» и редакции журнала «Вопросы жизни», рожденного из «Нового пути» Мережковских, который возглавили Н. Бердяев и С. Булгаков. И все же из шумной литературной жизни он все чаще сбегает к Блоку. Ему хочется сидеть с другом часами, в этих встречах было мало слов, много понимания и совершенно особый уют. В глазах Блока Белый впервые заметил усталость. Иногда Блок выводит Белого в город.

«Переулки, которыми водил меня Блок, – вспоминал Белый, – я позднее узнал; я их встретил в «Нечаянной радости»; и даль переулочную, и — крендель булочной...»

Будут и слова Блока, которые он не сможет не вспомнить:

«Знаешь, здесь — как-то так... Очень грустно... Совсем захудалая жизнь... Мережковские этого вот не знают».

Мережковские, у которых остановился Белый, ревнуют его к Блоку, не понимают их взаимного молчания:

«Удивительная аполитичность у вас: да, мы, вот, — обсуждаем, а вы вот — гуляете...»

Блоку литературный мир, в сущности, чужд. Он все постигает не через прения и споры, но в одиночестве. Или — изредка — в прогулках с друзьями.

Отъезд Белого пришелся опять на особенный день — 4 февраля. В Москве Иваном Каляевым убит генерал-губернатор великий князь С.А. Романов. Уже вдогонку Блок посылает другу письмо:

«Как хорошо было с Тобой в Петербурге! Сейчас мы узнали об убийстве Сергея Александровича. В этом — что-то очень знаменательное и что-то решающее. Это случилось, когда мы прощались с Тобой на платформе».

Блок чувствовал, что Россия вступила в год потрясений, что «осиянное» прошлое кончилось, что наступило другое время, тревожное. Время поисков, отчаяния, надежд. 16 апреля, в страстную субботу, рождается стихотворение, которое впоследствии откроет второй том его стихотворений. Знакомое обращение: «Ты». И — прощание с Ней:

Ты в поля отошла без возврата.
Да святится Имя Твое!
Снова красные копыя заката
Потянули ко мне острие...

Той честности, с какой он скажет эти слова: «без возврата», — ему не простят даже близкие друзья. Они сочтут, что это измена. Сам Блок о такого рода «изменах» скажет:

«Измена не есть перемена убеждений или образа мыслей: она есть глубочайший акт, совершающийся в человеке, акт религиозного значения».

Это не он изменял. Менялся сам состав духовного воздуха эпохи. Менялась Россия.

В «Вопросах жизни» появляется первая статья Блока «Творчество Вячеслава Иванова». Самый старший из «младосимволистов», после долгой заграничной жизни поселившийся в Петербурге и уже заявивший о себе как интересном поэте и человеке энциклопедической учености, на короткое время привлек к себе особое внимание Блока. Ему суждено сыграть роль теоретика символизма. Сильное впечатление на современников произвела большая работа о древнегреческом культе Диониса «Эллинская религия страдающего бога» (1904), а также многочисленные его статьи. Его квартира в доме 25 по Таврической улице на верхнем этаже в угловой башне, так и названная «Башня», становится местом встреч петербургских литераторов, художников, музыкантов, актеров и философов.

Собеседник он тоже был необыкновенный. Как вспоминал Николай Бердяев, «В. Иванов был виртуозом в овладении душами людей. Его пронизывающий змеиный взгляд на многих, особенно на женщин, действовал неотразимо». Энциклопедизм, ораторский дар и талант импровизатора придавали его суждениям особую остроту. На любую тему он мог с ходу прочитать многочасовую лекцию. С легкой руки философа Льва Шестова он получает торжественное прозвище: «Вячеслав Великолепный».

Вслед за статьей в «Вопросах жизни» выходят многочисленные рецензии Блока. Это уже не просто профессиональная литературная работа. Это даже не просто критика, это настоящая проза: емкая, точная. Блок-критик обладает стереоскопическим видением. За отдельным литературным явлением (книгой, сборником) он не только видит состояние литературы, но и постоянно ощущает сверхзадачу всякого писательства, с исключи-

тельной вкусовой и нравственной чуткостью отделяя зерна от плевел. В письмах к Белому чуткий слух Блока улавливает за политическими событиями начало мировых потрясений. Белый пишет статью с вещим названием «Апокалипсис русской поэзии» (она появится в журнале «Весы» в апреле). В эпиграфе слово из Соловьева («Панмонголизм!») и два слова из Блока: «Предчувствую Тебя». В статье несколько эстетично выражены чаяния младосимволистов: «Цель поэзии — найти лик музыки, выразив в этом лике мировое единство вселенской истины». Искусство для него — «кратчайший путь к религии». Среди русских поэтов-апокалиптиков он называет имена Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Тютчева, Фета, Вл. Соловьева и двух современников: Брюсова и Блока. О последнем говорится с особой горячностью и в самых превосходных тонах.

В быстром ответе Брюсова («В защиту одной похвалы») слышится раздражение. «Провиденциализм» молодых ему чужд. Он предпочитает чисто литературные мерки для творчества. «И неужели Блок, — восклицает мэтр, — более являет собой русскую поэзию, чем Бальмонт, или неужели поэзия Баратынского имеет меньшее значение, чем моя?» Вторая половина предложения — явный отвод. Среди современников Брюсов хочет быть первым. В Блоке он почувствовал соперника. Сам же Блок в рецензии на «Собрание стихов» Бальмонта формулирует свое отношение к поэту, которого ему противопоставил Брюсов, без обиняков: «Бальмонт не совсем русский и уж вовсе не народный поэт».

Из-за неразберихи в университете экзамены откладывались. В апреле Блок уезжает с женой в Шахматове, в мир, далекий от людских тревог. О своей «земляной» жизни он пишет Евгению Иванову:

«Когда приехали, жутко было иногда от древесного оргазма — соки так и гудели в лесах и полях. Через несколько дней леса уже перестали сквозить тишиной и стали полношумными. Теперь все они веселятся, очень заметно... Цветет все раньше, уже сирень все ветки согнула. В одной из многочисленных гроз показывался венец из косых лучей — из глаза Отца. Солнце бушует ветром — это ясно на закате, сквозь синюю и душную занавеску. Говорили, будто Москва горит, — так затуманились горизонты; но это были пары и “пузыри земли”, и “ветер разнес их мнимые тела, как вздох”»...

«Пузыри земли» и последняя строка — цитата из любимого шекспировского «Макбета».

О том же он скажет в августе в предисловии к сборнику «Нечаянная радость»:

«...Пробудившаяся земля выводит на лесные опушки маленьких мохнатых существ. Они умеют только кричать “прощай” зиме, кувыркаться и дразнить прохожих. Я привязался к ним только за то, что они — добродушные и бессловесные твари, — привязанностью молчаливой, ушедшей в себя души, для которой мир — балаган, позорище».

В стихах Блока появляется зачарованный мир болот: «бескрайняя зыбь», «чахлые травы» и «тощие злаки», «ржавые кочки и пни», «зеленые искры», «болотные попики» и «болотные чертенятки»...

10 июня из Дедова в Шахматове приезжают Андрей Белый и Сергей Соловьев. Каждый из них переживает свой духовный кризис. Воспоминания о прошлом счастливом лете вселяют в них особые надежды. О предстоящей встрече с Блоком и Любовью Дмитриевной думается с радостью. Как пояснял позже Белый: «Хотелось и просто втроем помолчать: без слов». Когда друзья ехали в Шахматове, их сопровождала надвигающаяся гроза, в поезде от Крюкова до Подсолнечной их настиг град. Пока все это воспринималось не как предзнаменование, виделось в ореоле предчувствия счастья встречи. Когда же их таратайка подъехала к крыльцу и они увидели Блока с женой и матерью, сразу почувствовалось, что прошлое лето ушло безвозвратно: что-то сдвинулось, какая-то тень легла на прежнее братство. Между Блоком, Любовью Дмитриевной и Александрой Андреевной чувствовалось напряжение.

Сергей Соловьев, вера которого в заветы дяди уже пошатнулась, хватался за прошлое, хотел, чтобы все было как раньше, требовал от всех верности прежним идеалам. К тому же он был увлечен «чеканной» поэзией Брюсова, и стихи Блока стали казаться ему

«романтической невнятицею». Любви Дмитриевне прежнее поклонение казалось насмешкой. Блок стремился к уединению, был темен и сумрачен. Однажды он прочитал им несколько стихотворений, написанных в 1905: с болотами, топями, «тварями весенними», «болотными чертенятками»...

И сидим мы, дурачки, —
 Нежить, немочь вод.
 Зеленеют колпачки
 Задом наперед, —

это четверостишие показалось Соловьеву и Белому насмешкой над их общим прошлым.

Взаимное напряжение разрешилось самым неожиданным образом. Сергей Соловьев, выйдя погулять, пошел в сторону леса. Вдруг он увидел зарю, звезду над зарею, и вся горечь взаимонепонимания вдруг вступила в его сознание странной идеей. Ему вдруг показалось, что если он будет идти за этой звездой через леса, болота, не оборачиваясь, все прямо и прямо, то их мистическое братство будет спасено. Ночь застигла его в лесу. Чудом он выбрался к Боблову. Залаяла собака, он увидел девушку в розовом платье... Это была сестра Любви Дмитриевны, Мария Дмитриевна Менделеева. Она узнала шафера на свадьбе Блока и Любы. Соловьев признался, что заплутал. Его приняли радушно. И в самом благодушном настроении он вернулся на следующий день в Шахматове

Вместо «спасения братства» его ждало возмущение Александры Андреевны. Всю ночь в Шахматове не смыкали глаз. В окрестностях было много «болотных оконцев», за Сережу тревожились, посылали гонцов. Утром Белый напал на след пропавшего... Больше всего поразило обитателей Шахматова не безрассудство Сережи, но его беспечность в отношении друзей. За него беспокоились, он в ответ то шутил, то ссылаясь на высокие «мистические причины». Мать Блока взорвалась: это «дьявол и соблазн». Соловьев как-то беспечно воспринял и гнев Александры Андреевны, но здесь за друга обиделся Белый. Утром он уехал раньше положенного, успев-таки передать через Соловьева записку Любви Дмитриевне с признанием в любви.

Сергей Соловьев остался еще на два дня. Исступленно сражаясь в карты, они с Блоком не сказали друг другу ни слова.

После отъезда «мистических братьев», с которыми отдалялось его прошлое, на Блока накатывает лирическая волна, и с ней приходят новые темы. Эхо от недавней встречи с «братьями» (от ее натянутости, неестественности, театральности) затрепетало в «Балаганчике»:

Вот открыт балаганчик
 Для веселых и славных детей,
 Смотрят девочка и мальчик
 На дам, королей и чертей.
 И звучит эта адская музыка,
 Завывает унылый смычок.
 Страшный черт ухватил карапузика,
 И стекает клюквенный сок.

Стихотворение — микродрама. Мальчик произносит нечто мистическое («Он спасается от черного гнева // Мановением белой руки...»), в ответе девочки — скрытая пародия на недавнее явление «Ее», «Дамы», «Королевы». Финал — за паяцем в картонном шлеме, и с деревянным мечом, истекающим клюквенным соком. Последние две строки:

Заплакали девочка и мальчик,
 И закрылся веселый балаганчик.

Этому стихотворению еще придется сыграть свою непростую роль в жизни Блока.

Но кроме «Балаганчика» он пишет и другое — «Осенняя воля». В июле совершенно явственно в его поэзию входит тема России. Образ родины стоит за движением холодного воздуха, за каждым словом:

Выхожу я в путь, открытый взорам,
Ветер гнет упругие кусты,
Битый камень лег по косогорам,
Желтой глины скудные пласты.

Ветренный простор, глинистые косогоры, узорный рукав отныне войдут в его поэзию навсегда.

В августе рождаются и другие знаменитые строки: «Девушка пела в церковном хоре о всех усталых в чужом краю...» Многие услышали в стихотворении напоминание о Цусиме. Поражала и лучистая чистота этих строк, и горькая концовка:

И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у Царских Врат,
Причастный Тайнам, — плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.

Ссора с друзьями толкала на иные, тайные встречи. Летом Блок пишет рецензию на книгу «Тихие песни» никому неизвестного Ник. Т-о. Он видит в авторе начинающего и старается быть как можно суше. И все же с языка срывается: «носит на себе печать хрупкой тонкости и настоящего поэтического чутья...», «вдруг заинтересовавшись как-то, прочтешь, — и становится хорошо...», «совсем новое, опять незнакомое чувство, как бывает при неожиданной встрече», «чувствуется человеческая душа, убитая непосильной тоской, дикая, одинокая и скрытная»...

Свою рецензию на этот сборник стихов Блок закончит пожеланием: «Хочется, чтобы открылось лицо поэта, которое он как будто от себя хоронит, — и добавит: — Нет ли в этой скромной затерянности чересчур болезненного надрыва?»

Надрыв действительно был. Автор был слишком стар для начинающего: он уже подходил к своему пятидесятилетию. Его жизнь слишком далеко отстояла от литературного мира, хотя его внутренняя, тайная жизнь была примером редкой любви к литературе и рыцарской преданности ей. К началу 1900-х Иннокентий Анненский (псевдоним Ник. Т-о составлен из букв имени Иннокентий) — уже признанный ученый-филолог и педагог. Но тайную его жизнь — его собственную поэзию, которой через многие годы, уже после смерти автора, суждена была высокая судьба и подлинное признание, — не знал никто. Одинокая душа неизвестного автора всколыхнула Блока. В июльском письме к Г. Чулкову он признается: «Ужасно мне понравились “Тихие песни” Ник. Т-о. В рецензии старался быть как можно суше; но, мне кажется, это настоящий поэт, и новизна многого меня поразила». В марте следующего года, узнав имя автора, напишет Анненскому: «Это навсегда в памяти. Часть души осталась в этом».

27 августа Блок с женой возвращается в Петербург. Революция волнует его. 17 октября, в день выхода царского манифеста, он среди ликующей толпы. В одной из уличных процессий он нес во главе красный флаг. Но в самом конце года, 30 декабря, в письме к отцу следует признание:

«Отношение мое к «освободительному движению» выразалось, увы, почти исключительно в либеральных разговорах и одно время даже в сочувствии социал-демократам. Теперь отхожу все больше, впитав в себя все, что могу, из “общественности”, отбросив то, чего душа не принимает. А не принимает она почти ничего такого — так пусть уж займет свое место, то, к которому стремится. Никогда я не стану ни революционером, ни “строителем жизни”, и не потому, чтобы не видел в том или другом смысле, а просто по природе, качеству и теме душевных переживаний».

И здесь, внутри общественного волнения, Блок предпочитает свое одиночество. И само это волнение он лучше понимает своими обостренными нервами, наедине с жизнью.

Память о неудавшейся летней встрече не отпускала. 2 октября 1905 года Блок пишет Белому братское письмо, надеясь на понимание.

«Право, я Тебя люблю. Иногда совсем нежно и сиротливо... Ты знаешь, что со мной летом произошло что-то страшно важное. Я изменился, но *радуюсь* этому... Я больше не люблю города или деревни,

а захлопнул заслонку своей души. Надеюсь, что она в закрытом наглухо помещении хорошо приготовится к будущему... Не могу сказать, как радостно и постоянно Тебя люблю...»

Ответ Белого от 13 октября — нервный и требовательный. Он сомневается, что за будущим Блока есть какое-то содержание. И выплескивает в письме всю боль недавно пережитого:

«Летом, когда мы с Сережей были в Шахматове, мы оба страдали от внезапных осложнений в одном для меня и Сережи реальном мистическом пути, о котором я много и долго говорил Тебе в свое время и против которого Ты не *возражал* (почему?)... Когда же нужно было совершить отплытие в сторону долга и Истины, а не *бытия просто за чаем и мистическими разговорами*, все запуталось: тут, без сомнения, Твоя неподвижность оказала влияние. Все осложнилось. Мы с Сережей почти обливались кровью...»

В Белом все клокочет: Блок должен был или «делом принять» тот путь, который был ему предложен, либо «все это проклясть». Блок не сделал ни того, ни другого, а, глядя на друзей, «эстетически наслаждался чужими страданиями». В конце письма Белый смягчается, в нем просыпается человеческое чувство:

«Дорогой Саша, прости мне мои слова, обращенные к Тебе от любви моей, но я говорю Тебе, как облеченный ответственностью за чистоту одной Тайны, которую Ты предашь или собираешься предать. Я Тебя предостерегаю — куда Ты идешь? Опомнись! Или брось, забудь — Тайну. Нельзя быть одновременно и с богом и с чертом».

Блок отвечает товарищу сразу: «Целый день сегодня мне было очень больно, но совсем не обидно». Он готов взять вину на себя. Он никогда «не умел выражать точно своих переживаний». Он готов отказаться от прежнего: «Я не мистик, а всегда был хулиганом, я думаю». Все упреки Белого приняты, кроме одного: страданиями друзей он не наслаждался. И готовность к жертве: «Милый Боря. Если хочешь меня вычеркнуть — вычеркни. В этом пункте я маревом оправданий не занавешусь».

Возникшее напряжение разрешается в декабре приездом Белого в Петербург. При первой встрече они поначалу конфузились как дети. Но разговор пошел теплый. И главное, как впоследствии вспоминал Белый, «Блок сумел, точно тряпкой, снимающей мел, в этот вечер стереть все сомненья». После отъезда Белого в Москву в конце декабря их предновогодние письма полны умиротворения: Белый признается другу, что любил его всегда, «но не чувствовал такой близости, как теперь». Блок тоже полон покоя и счастья:

«Родной мой и близкий брат, мы с Тобой чудесно близки, и некуда друг от друга удаляться, и одинаково на нас падает белый мягкий снег, и бледное лиловое небо над нами...»

13 января 1906 года в том же умиротворении он пишет стихотворение, обращенное к Белому:

Милый брат! Завечерело.
Чуть слышны колокола.
Над равниной побелело —
Сонноокая прошла...

Их прежние хождения по переулкам, братские встречи втроем воскресают в этих строчках:

Возвратясь, уютно ляжем
Перед печкой на ковре
И тихонько перескажем
Все, что видели, сестре...

Но в январе Блок пишет и другое произведение. Георгий Чулков собирается создать театр «Факелы». Блоку он предложил из стихотворения «Балаганчик» сделать пьесу. 23 января она была закончена. С «Балаганчика» начался цикл лирических драм Блока.

Пьеса родилась из стихотворения, как симфония рождается из музыкальной темы. Здесь есть факельное шествие, картонный шлем и деревянный меч, паяц, истекающий клюквенным соком. Есть и кукольная мистика, которая в стихотворении едва мерцала. Но появляется и нечто совершенно новое. Блок берет традиционных героев балаганов,

которых видела петербургская публика рубежа веков: Пьеро, Арлекина, Коломбину. Под этими масками разыгрывается любовная драма: Пьеро влюблен в Коломбину, ее уводит более удачливый Арлекин. Но когда он сажает даму своего сердца в извозчицьи сани, Коломбина падает, превращаясь в картонную невесту. Бывшие соперники ходят по ночным снежным улицам, уже как братья, поют: «Ах, какая стряслась беда!» В конце Арлекин, стремясь навстречу весеннему миру, прыгает в окно. «Даль, видимая в окне, оказывается нарисованной на бумаге. Бумага лопнула. Арлекин полетел вверх ногами в пустоту». В окне появляется смерть, распугав всех действующих лиц. Навстречу ей идет только Пьеро, и по мере его приближения она оживает, становясь Коломбиной. Но в решающий момент «декорации взвиваются и улетают вверх. Маски разбегаются». На сцене остается один жалобный Пьеро. Театральность и балаганность лирической драмы еще более подчеркивает комический образ автора, который то и дело врывается на сцену, пытаясь защитить свое произведение от произвола актеров, играющих на сцене, и объяснить с публикой. В гротескно прочерченном сюжете Блок увидел скорое будущее.

Они с Любовью Дмитриевной зовут Белого в Петербург. Белый понял недавнее примирение по-своему. В нем все сильнее разгорается любовь к жене Блока. Ради соединения с нею он готов переселиться в Петербург. Но с первой же встречи все пошло совсем не так, как ожидалось. Перед своим визитом он послал Блокам куст пышной гортензии. Войдя, тут же почувствовал, что посылка показалась безвкусной и всех покорила. Не было и прежней теплоты ни в комнатах, ни в душах. Когда же при следующей встрече Блок прочитал «Балаганчик», Белый, ожидавший светлой мистерии, содрогнулся: «Нелепые мистики, ожидающие Происшествия, девушка, косу (волосяную) которой считают за смертную косу, которая стала “картонной невестой”, Пьеро, Арлекин, разрывающий небо, — все бросилось издевательством, вызовом: поднял перчатку!»

Между друзьями нарастает отчуждение. Блок, чувствуя раздражение Белого, удаляется от него. У поэта впереди выпускные университетские экзамены, кроме того, он занят составлением второго сборника стихов, который назовет «Нечаянная радость». Белый дни проводит в разговорах с Любовью Дмитриевной. Начинается их обоюдная исповедь. Она рассержена ролью, которую навязали ей недавние друзья. Она не идея, и не символ, она — живая. Ей уже невыносима прежняя роль, она хочет иметь свою судьбу и хочет стать актрисой. Начинается мучительная пора объяснений.

26 февраля все кончается взаимным объяснением. Белый, торжествуя победу, отрывает Блока от занятий, настаивая на разговоре. Тот, «натягивая улыбку на боль», идет вместе с Белым и женой в кабинет. Происшедшее поразило Белого. Он ожидал борьбы, напряженно смотрел на соперника:

«...Лицо его словно открылось; открытое, протянулось ко мне голубыми глазами, открытыми тоже; на бледном лице (был он бледен в те дни) губы дрогнули; губы по-детски открылись: “Я — рад...”»

Окрыленный Белый несется в Москву: он должен ехать с Любовью Дмитриевной за границу, и надо много что уладить. С Л.Д. Блок они переписываются ежедневно. Но в письмах та же невнятица: она то любит Белого, то Блока... Во второй половине апреля Белый мчится обратно в Петербург. Опять начинаются трудные диалоги с Любовью Дмитриевной. Блок усиленно готовится к выпускным экзаменам, а то исчезает из дому, пропадает «в кабаках, в переулках, в извивах». Вместо чаемого некогда братства к нему пришло полное одиночество. Однажды после экзамена он уезжает в Озерки, дачное место под Петербургом, возвращается с серым лицом, идет нетвердой походкой. На вопрос жены: «Ты — пьян?» — отвечает: «Да, Люба, — пьян». В этот день на островах родилось одно из самых знаменитых его стихотворений:

По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух,

И правит окриками пьяными
Весенний и тлетворный дух...

«Незнакомка» поразила современников своей гипнотической мелодией. Друг Блока Евгений Иванов вспомнит потом, как однажды Блок водил его по тем местам, которые запечатлелись в стихотворении. Иванов слышал и «скрип уключин», и «женский визг», видел и «позолоченный» крендель на вывеске кафе, и шлагбаумы... Критики не случайно будут говорить о Блоке — последователе «фантастического реализма» Достоевского. Явленная поэтом реальность расслаивается, за планом обыденным сквозит иной, черты самой Незнакомки двоятся:

И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.

В чертах падшей женщины поэт прозревает черты «вечноженственного» начала, но мир вокруг «Незнакомки» — не храм, как в «Стихах о Прекрасной Даме», а кабак. Двоится и сам мир вокруг этого образа: это не то реальная «Незнакомка», не то фантом, галлюцинация, «пьяное чудовище», мелькнувшее в хмельном сознании поэта («Иль это только снится мне?»). Стихотворение обрело такую популярность, что столичные проститутки рядились в «незнакомку», им льстило «второе» зрение поэта, который за самым грязным обликом был способен рассмотреть нечто таинственное.

Белый и Любовь Дмитриевна решают расстаться на два месяца, встретиться в августе и ехать за границу, в Италию. Блок 5 мая сдает государственные экзамены «по первому разряду», 6-го оканчивает поэму «Ночная Фиалка» (сон, приснившийся ему в декабре 1905, записанный белым стихом, где эхо скандинавских легенд: король, королева, рыцари — отражается в петербургских болотах).

11 мая он уезжает в Шахматово. Но странные отношения между всеми тремя на этом не заканчиваются. В письмах к Белому Любовь Дмитриевна говорит, что она изменилась, что никакой любви к нему у нее нет и не было. Белый в ответах не отступает от своего, письма его пахнут трактатами: здесь и Кант, и Риккерт, и евангелист Иоанн. В Дедове у Соловьевых Белый получает письмо от Блока. Тот едет в Москву для переговоров с журналом «Золотое руно», который стал выходить с начала года. Белый срывается с места. В Москве они встречаются в ресторане «Прага», и здесь происходит один из самых тяжелых разговоров между ними, который кончается ничем: после угроз Белого Блок встает и, не оборачиваясь, идет к выходу.

Белый на грани безумия. В «Воспоминаниях о Блоке» напишет:

«Да, я был ненормальным в те дни; я нашел среди старых вещей маскарадную черную маску, надел на себя и неделю сидел с утра до ночи в маске; лицо мое дня не могло выносить; мне хотелось одеться в кровавое домино и так бегать по улицам...»

Он думает то об убийстве, то о самоубийстве. Письмо Белого от 9 августа 1906 подтверждает: охватившая его страсть достигла крайнего напряжения и уже граничит с кошмаром:

«Саша, милый, я готов на позор и унижение: я смирился духом: бичуйте меня; помогите меня, бейте меня, бегите от меня, а я буду *везде и всегда и буду все, все, все переносить*... Я — орудие ваших пыток: *пытайте*... Отказываюсь от всех взглядов, мыслей, чувств, кроме одного: беспредельной любви к Любе».

Уже на следующий день после разговоров с экзальтированным Эллисом рождается идея дуэли; Белому кажется — это подходящая «форма самоубийства». Эллис как секундант Белого отправляется в Шахматово. Встреча с Блоками оказалась неожиданно теплой. Дуэль — не нужной. Блок выглядел усталым. И о Белом сказал: «Просто Боря ужасно устал...» Эллис возвращается и передает Белому приглашение встретиться осенью в Петербурге.

24 августа Блок с женой возвращается в Петербург. Среди написанного за лето — новая лирическая драма «Король на площади». Он устал, он измучен. Белый когда-то

вспомнит его лицо 1906 года: тусклое, как месяц на ущербе. В сентябре Блоки переезжают: они сняли квартиру на Лахтинской улице, чтобы жить отдельно от родителей. Здесь и настигает их Белый. Десять дней ждет приглашения. Получив записку от Любови Дмитриевны, идет как на казнь. После пятиминутного разговора с ней он чувствует себя уничтоженным. Возвращается с неотвязной думой о самоубийстве.

Вторая записка от Л.Д. Блок приходит к утру. Они встречаются. Решено расстаться на год, чтобы все само собой определилось. Совершенно опустошенный, Белый уезжает за границу.

Проницательный Ходасевич, хорошо знавший Белого в годы своего студенчества и тесно общавшийся с ним в 1920-е, был уверен, что здесь поломалась не только жизнь Блока, но и жизнь самого А. Белого:

«Потом еще были в его жизни и любви, и быстрые увлечения, но та любовь сохранилась сквозь все и поверх всего. Только ту женщину, одну ее, любил он в самом деле. С годами, как водится, боль притупилась, но долго она была жгучей».

Эта почти безумная любовь многое определит и в дальнейших отношениях бывших друзей, эхо далеко не балаганной драмы будет настигать их спустя годы.

В октябре Блок заканчивает статью «Поэзия заговоров и заклинаний». Тема ее звучит иногда в унисон с его «болотной» лирикой. В ней тоже есть «колдуны и косматые ведьмы». 11 ноября он ставит точку в третьей лирической драме «Незнакомка». Из стихотворения родилась история о женщине — «падшей звезде» и об одиночестве поэта.

В конце декабря в московском издательстве «Скорпион» вышла вторая книга стихов Блока «Нечаянная Радость», ставшая своего рода итогом его поэтических блужданий 1904–1906. В рецензии на этот сборник Белый воскликнет: «Да ведь это не *“Нечаянная Радость”*, а *“Отчаянное Горе”*! В прекрасных стихах расточает автор ласки чертенятам и дракончикам». Белый не может спокойно видеть, как поэт предает свое прошлое, поклонение «вечно-женственному началу». Но не может не видеть: «Блок настолько же выиграл как поэт, насколько он упал в наших глазах как предвестник будущего». А процитировав «Осеннюю волю», признает: «Здесь Блок становится поэтом народным». Тревога Белого, которая звучит в последних строках этого отзыва, — это не только тревога о поэте Блоке, но и самом себе.

Драма «Балаганчик», написанная в начале 1906, оказалась пророческой. Белый уже пережил свою «арлекинаду», Любови Дмитриевне еще предстоит сцена: из чуткой, вдумчивой женщины она вдруг станет шумной, экзальтированной актрисой. И только в страдающем облике Блока — ничего от Пьеро. В нем лишь обострилось чувство своей гибели.

1906 год принес невероятную усталость. В конце декабря Блок заносит в записную книжку: «Мое бесплодие (ни стихов, ничего, уже с полтора месяца) и моя усталость...» Но гибельный пожар приближался.

«Писательская судьба — трудная, жуткая, коварная судьба»

30 декабря в театре В. Комиссаржевской состоялась премьера блоковского «Балаганчика», поставленного В. Мейерхольдом. Театр входит в жизнь Блока, заполняет ее до краев, сама жизнь его наполняется тревогой, гибельным восторгом. Знал ли он, заканчивая в ноябре 1906 пьесу «Незнакомка», что не успеет наступить новый год, как образ, созданный его воображением, захочет воплотиться, чтобы сыграть в его жизни роль слепой и неотвратимой стихии?

29 декабря помечено первое стихотворение из цикла «Снежная маска»:

И вновь, сверкнув из чаши винной,
Ты поселила в сердце страх
Своей улыбкою невинной
В тяжелозмейных волосах...

Стихотворение рождается за стихотворением. Часто по несколько в день. Он не жил — летел с каким-то неостановимым, гибельным ликованием. И снежная его подруга подхвачена тою же внезапно налетевшей вьюгой. Ритм стиха часто нервный, задыхающийся:

Ты запрокинула голову ввысь.
Ты сказала: «Глядись, глядись,
Пока не забудешь
Того, что любишь».

И указала на дальние города линии,
На поля снеговые и синие,
На бесцельный холод.
И снежных вихрей подъятый молот
Бросил нас в бездну, где искры неслись,
Где снежинки пугливо вились...

Его метели проносятся не только над землей, но и в каких-то неведомых мирах. Этот снежный вихрь столь же капризным, изменчивым ритмом ворвется позже и в поэму «Двенадцать», где в реальном, до мелочей узнаваемом Петрограде будут бушевать космические бури. Именно в «Записке о “Двенадцати”» Блок вспомнит 1907 год и скажет, что тогда он «слепо отдался стихии».

За полмесяца появятся на свет 30 стихотворений «Снежной маски». Цикл будет издан с посвящением: «...Тебе, высокая женщина в черном, с глазами крылатыми и влюбленными в огни и мглу моего снежного города».

Наталия Николаевна Волохова была актрисой театра В. Комиссаржевской. Тетка поэта М. Бекетова, вспоминая это время, писала:

«Скажу одно: поэт не прикрасил свою “снежную деву”. Кто видел ее тогда, в пору его увлечения, тот знает, как она была дивно обаятельна. Высокий, тонкий стан, бледное лицо, тонкие черты, черные волосы и глаза, именно “крылатые”, черные, широко открытые “маки злых очей”. И еще поразительнее была улыбка, сверкавшая белизной зубов, какая-то торжествующая, победоносная улыбка. Кто-то сказал тогда, что ее глаза и улыбка, вспыхнув, рассекают тьму. Другие говорили: “раскольничья богородица”...»

С Волоховой Блок познакомился на репетициях «Балаганчика». В их отношениях много от мучительной страсти, от «упоения» на «краю бездны» (как в пушкинском «Пире во время чумы»), но все, что они переживают, словно происходит под сильным освещением театральных прожекторов.

Невероятно, но именно в начале года Блок по заказу пишет и комментарии к первому тому сочинений Пушкина. Он работал с многочисленными рукописями поэта, сличал печатные редакции его лицейских стихов, искал возможные литературные воздействия на раннего Пушкина. Странное сочетание лирического полета и филологической сосредоточенности в волоховский период творчества для Блока естественно. Его младший современник Георгий Иванов скажет о той черте поэта, без которой его творчество было бы невозможно:

«Блок — самый серафический, самый “неземной” из поэтов — аккуратен и методичен до странности... Почерк у Блока ровный, красивый, четкий. Пишет он не торопясь, уверенно, твердо... — Откуда в тебе это, Саша? — спросил однажды Чулков, никак не могший привыкнуть к блоковской методичности. — Немецкая кровь, что ли? — И передавал удивительный ответ Блока: — Немецкая кровь? Не думаю. Скорее — самозащита от хаоса».

«Защита от хаоса» тем более нужна, когда ощущаешь восторг гибели:

Нет исхода из вьюги,
И погибнуть мне весело,
Завела в очарованный круг,
Серебром своих вьюг занавесила...

И при всем рваном, задыхающемся ритме его стихов внешне он ведет себя уверенно и твердо. Мемуаристы отмечают, что в его облике появилось спокойствие, «сосредо-

точенная сила», «ничего дряблого». Прежние знакомые с трудом узнают в Блоке недавнего певца «Прекрасной Дамы». Андрей Белый, только-только видевший Блока усталым, измученным, потухшим, поражен его преображением: поэт стал проще и мужественнее. Но и некоторая условность поклонения «Снежной маске» ее рыцаря, «театр в жизни», не миновали глаз современников.

Весной полет прерывается: Волохову ждут гастроли. Итог короткого и бурного времени «Снежной маски» в записной книжке:

«Одна Наталия Николаевна — русская, со своей русской “случайностью”: не знающая, откуда она, гордая, красивая и свободная. С мелкими рабскими привычками и огромной свободой. Как-то мы в августе встретимся? Устали мы, чудовищно устали»...

Летом образ «русской случайности» обростает новыми чертами:

«...“Коробейники” поются с какой-то тайной грустью. Особенно — “Цены сам платил немалые, не торгуясь, не скупись...” Голос исходит слезами в дождливых далях. Все в этом голосе: просторная Русь, и красная рябина, и цветной рукав девичий, и погубленная молодость. Осенний хмель. Дождь и будущее солнце. В этом будет тайна ее и моего пути. — Так писать пьесу — в этой осени».

В «Снежной деве» Блок готов видеть теперь иное лицо, Фаину из одноименного стихотворного цикла и Фаину из драмы «Песня Судьбы», работать над которой он начинает в апреле 1907.

Театр входит в жизнь Блока и с другой стороны. 20 января умирает отец Любви Дмитриевны, знаменитый химик Менделеев. Небольшое наследство, полученное женой Блока, дает ей возможность всерьез готовиться к сцене: она берет уроки пластики, декламации. Скоро она начнет жизнь актрисы — с разъездами, с неустроенным бытом. Пока же на лето она одна едет в Шахматово, разучивает роли.

В это время поэта настигают иные страсти, он попадает в полосу литературных дразг и битв. Журнал «Золотое руно», богатое, роскошное издание, выпускавшийся на средства известного капиталиста Н. Рябушинского, переживает трудные времена. Еще недавно он пытался соперничать с «Весами». Здесь печатались почти те же авторы. Но в «Вессах» всегда ощущалась твердая рука Брюсова. В «Золотом руне» все было иначе. Рябушинский не хотел ограничиваться ролью мецената, хотя для большего не имел ни должных знаний, ни вкуса. Менялись редакторы, не сумевшие найти с ним общий язык, журнал прошел через несколько кризисов.

На эту ситуацию наложилась сумбурная полемика вокруг «мистического анархизма», главным застрельщиком которого стал Г. Чулков. Свою попытку преодолеть индивидуалистические настроения в символизме он выразил крайне путано. Если социальный анархизм в глазах Чулкова был путем к освобождению человека от внешних норм, от давления государства и общества, а философский анархизм — учением, ведущим к освобождению от всех обязательных норм, в том числе моральных и религиозных, то мистический анархизм — это «учение о путях последнего освобождения, которое заключает в себе последнее утверждение личности в абсолютном». Это освобождение должно было привести приверженцев нового учения к «совместной влюбленности в Мировую Душу».

Чулкова поддержал Вячеслав Иванов. Блок к идеям Чулкова отнесся с тем недоверием, с каким вообще относился ко всякого рода умствованиям. Но московские «Весы» и его как петербуржца причислили к «мистическим анархистам». На «золоторуновцев» Чулкова, Городецкого, Вяч. Иванова и Блока обрушились москвичи: Брюсов, Эллис и Белый. Когда сотрудники «Весов» Брюсов, Белый, Мережковский, Гиппиус, Кузмин и другие в разгар серьезных разногласий между журналами отказались от сотрудничества с взбалмошным Рябушинским, ответ «Золотого руна» прозвучал неожиданно: предложение вести критические обозрения получает Блок. Уже первые его статьи показали, насколько далеки его оценки от каких-либо групповых пристрастий. Он с вниманием всматривается в творчество реалистов, сочувственно отзывается о Горьком. Все это было слишком непривычно для писателей его круга.

Белый, бежавший осенью за границу, перенесший там сложную операцию, вернулся в родные пенаты болезненно раздражительным человеком. Его любовь еще не угасла. Личная драма настолько застила ему глаза, что кипевшую в нем «вражду к Блокам» он перенес в теоретическую область. И очертя голову бросился на «мистический анархизм»: за спиной Чулкова ему мерещилась иная фигура. Энергия, с какой Белый обрушился на того, кого недавно еще считал братом, сам тон его выпадов перешли все рамки приличий.

Читая статьи Блока, Белый не готов был в неожиданных суждениях поэта видеть широту чувств. Его болезненное воображение, к тому же подогреваемое экзальтированным недругом Блока Эллисом, заставляло Белого высматривать в них только ложь и предательство. Все «злые козни» противников находились целиком в мире его больного воображения. В ненормальном своем полемическом задоре Белый никем не понят, но и сам не может понять действительного положения дел, находясь в замкнутом мире тех фантомов, которые создавало его разгоряченное сознание. О своих с Эллисом ощущениях он после заметит: «нам начинало казаться, что Иванов, Блок и Чулков составили заговор: погубить всю русскую литературу». Белому ненавистна вульгарность теории Чулкова, она воспринимается как карикатура на собственные мысли, но и сам он прибегает к недопустимому (до вульгарности!) тону полемики, не чураясь таких выражений, как «обозная сволочь» или «трусливые гиены»...

Прочитав в 5-м номере «Золотого руна» статью Блока «О реалистах», в похвалах Горькому, во внимании к таким второстепенным авторам, как Скиталец, Белый рассмотрел заигрывание с чуждыми символизму силами. В начале августа Белый посылает Блоку оскорбительное письмо, полное самых невообразимых обвинений. 8 августа из Шахматова Блок в ответ вызывает бывшего друга на дуэль.

Получив вызов, Белый пишет письмо, в котором разом раскрывается подоплека его литературных выходок, звучит искренний тон обиженного человека: «я хотел *правды*, хотел честно произнесенных слов, а не неопределенно-бездонных молчаний». Он недоумевает, почему Блок своим молчанием поддерживает отвратительный «мистический анархизм». Блок схватывает все, что стоит за строчками: Белый переживает беду. Вопрос о дуэли отпадает. Блок отправляет в «Весы» письмо, разом перечеркнувшее ненужные кривотолки: «Высоко ценя творчество Вячеслава Иванова и Сергея Городецкого, с которыми я попал в общую клетку, я никогда не имел и не имею ничего общего с “мистическим анархизмом”, о чем свидетельствуют мои стихи и проза».

Вероятно, Владислав Ходасевич был прав, когда полагал, что мучительная любовь Белого к жене Блока сыграла роковую роль в истории символизма. В основе полемики лежала вовсе не теоретическая причина. Символизм как течение должно было погубить не различие в теоретических вопросах, а несовпадение судеб его представителей. Они были слишком разные люди. В своем творчестве каждый из них был слишком сам по себе, одному трудно было согласиться со всеми. Раздор пошел по нюансам переживаний и их истолкований. Они не могли объединиться на теории, а общее ослепительно-яркое ощущение, пережитое в самом начале XX века с его «мистическими зорями», не могло удерживать долго в одном мистическом братстве. И когда стало ясно, что эпоха «зорь» минула безвозвратно, они не смогли не попытаться подвести черту под этими несбывшимися надеждами русского символизма. Брюсову, и вовсе чуждому всяким мистическим умонастроениям, такой раздор оказался только на руку: в пылу спора Белый договорился до того, что поставил мэтра рядом с Пушкиным. Poleмика обескровила оба символистских издания. Просуществовав до конца 1909, они прекратили существование почти одновременно.

После внятного объяснения с глазу на глаз в личных отношениях Блока и Белого наступает недолгий период взаимопонимания. В октябре 1907 они едут в Киев для участия в литературном вечере. Но через полгода они разом почувствуют взаимное отчуждение и надолго прекратят всякое общение.

Наряду с «метелями» «Снежной маски», наряду с журнальным балаганом, в жизнь Блока входит еще одно событие. Когда-то в ноябре 1906 он написал лирическую статью «Девушка розовой калитки и муравьиный царь». Воспоминания о Бад-Наугейме сплетаются с мыслями о Германии, о легендах Европы, которые уже созданы, уже кончились и состарились: королева, ее пажи, их мечты о «девушке розовой калитки». И рождаются думы о русских поверьях, где заключено «чистое золото» поэзии. Блок вспоминает легенду о муравьином царе, пришедшую из заговоров и заклинаний. Да, Европа — это гармонические линии, нежные тона, томные розы, воздушность, мечта о запредельном, искания невозможного. Россия — это «безобразная история», где «боярские брюхи», где «хлюпает» кровь, «тяжелая, гнилая, болотная». Здесь все земляное, небо — «серое, как мужицкий тулуп». Но...

«Здесь от края и до края — чахлый кустарник. Пропадаешь в нем, а любишь его смертной любовью; выйдешь в кусты, станешь на болоте. И ничего-то больше не надо. Золото, золото где-то в недрах поет».

В конце 1906 поэт предчувствует появление людей «из земли». Осенью 1907 получает письмо от молодого крестьянина Николая Клюева. Завязывается переписка. И хитроватый, редкого таланта крестьянский поэт, как бы угадывая, что хочет слышать от него «кающийся дворянин», пишет о силе людей из народа и той непроходимой меже, которая пролегла между народом и интеллигенцией, которую «...“наш брат” не дичится, а завидует и ненавидит, а если и терпит вблизи себя, то только до тех пор, покуда видит от “вас” какой-либо прибыток».

Письма Клюева настолько точно попадают в цель, подтверждая тревоги поэта, что он цитирует отрывки одного из них в статье «Литературные итоги 1907 года». Блок обрушивается на писателей, эстетов, религиозно-философские собрания и прочий словесный «кафешантан».

«А на улице — ветер, проститутки мерзнут, люди голодают, людей вешают, а в стране — реакция, а в России — жить трудно, холодно, мерзко. Да хоть бы все эти нововременцы, новопутейцы, болтуны — в лоск исхудали от собственных исканий, никому на свете, кроме “утонченных” натур, не нужных, — ничего в России не убавилось бы и не прибавилось!»

Гибельный пожар, охвативший Блока на пороге 1908, разрешается началом его народничества. И настойчивое требование Блока, обращенное к литературе, говорить о главном, и стремление разделаться со своим прошлым, и его внимание к людям «из земли» выплеснулось в статьи 1908 года. Тон его прозы иногда приближается к тону проповеди:

— «...Символическая школа была только мечтой, фантазией, выдумкой или надеждой некоторых представителей “нового искусства”, но никогда не существовала в русской действительности...»;

— «...Только то, что было исповедью писателя, только то создание, в котором он сжег себя дотла, — только оно может стать великим. Если эта сожженная душа... огромна, она волнует не одно поколение, не один народ и не одно столетие. Если она и не велика, то рано ли, поздно ли она должна взволновать, по крайней мере, своих современников...»;

— «К вечной заботе художника о форме и содержании присоединяется новая забота о долге... В сознании долга, великой ответственности и связи с народом и обществом, художник находит силу ритмически идти единственно необходимым путем».

Он пишет о пути художника от людей и к людям («Об Ибсене»), о растленности модных «вечеров искусств», о страшной, смертельной душевной болезни его времени — иронии.

Но все пережитое после краха прежней жизни соединяется в едином замысле. В 1908 Блок бьется над новой драмой «Песня Судьбы». Герой покидает родной дом, жену, мать, чтобы идти «в жизнь»; встречается с раскольницей Фаиной, через служение которой познает новое ощущение мира; наконец, оставленный ею, тонет в метели. В конце пьесы, как спасение героя, звучит песнь коробейника (строки из знаменитой поэмы Некрасова: «Ох, полным-полна коробушка...»).

Контур собственного пути поэтом начертан, но герои Блока так и не смогли ожить. Образ Фаины обретает черты раскольницы, «Снежной маски», цыганки, циркачки. Он двоится, троится, расслаивается на все большее число лиц. Вопросы, мучившие Блока, пока не сводились воедино.

Когда пьеса была уже готова, Блок вдруг ощутил накат лирической волны. Так родился стихотворный цикл «На поле Куликовом» — одно из знаменитейших творений поэта. Здесь звучит знакомое обращение: «Ты», но за этим местоимением мы не обнаружим ни Прекрасной Дамы, ни Незнакомки. Конечно, отблеск прежних стихов в этом «Ты» сохранился, потому и обращение к Родине в первом стихотворении столь необычно: «О, Русь моя! Жена моя! До боли нам ясен долгий путь». Не родина-мать, а Русь-Жена. Но это — Жена, которая пишется с прописной буквы, в ней — тоже «вечно-женственное» начало, что и в ранних стихах. В третьем стихотворении цикла, где ощущения воина в ночь перед битвой сливаются с ощущением поэта, который смотрит в глубь родной истории, среди полей, лебединых криков, у темного Дона, где чуткое ухо Блока различает далекие материнские стенания («И вдали, вдали о стремя билась, голосила мать») является «Она»:

И с туманом над Непрядвой спящей,
Прямо на меня
Ты сошла, в одежде свет струящей,
Не спугнув коня.

Даниил Андреев, сын писателя Леонида Андреева, поэт и философ-мистик, в комментариях к этому стихотворению не удержался от восклицания: «Кто и когда так ясно, так точно, так буквально писал о Ней, о великой вдохновительнице, об идеальной душе России, о ее нисхождении в сердца героев, в судьбы защитников родины, ее поэтов, творцов и мучеников?»

Душа России сходит в душу поэта-воина и сближается с образом Богородицы, которую народ испокон веку считал заступницей своей родины:

И когда наутро, тучей черной
Двинулась орда,
Был в щите
Твой лик нерукотворный
Светел навсегда.

Еще в стихотворении «Девушка пела в церковном хоре...», в строках которого угадывался отклик поэта на Цусимское сражение и гибель русской эскадры во время войны с Японией, прозвучала горькая молитва о России. В «куликовском» цикле горячая боль поэта за судьбы родины становится явственной. Цикл «На поле Куликовом» не только о великом историческом прошлом, но и о грядущих испытаниях. Тревога пронизывает уже первое стихотворение:

Закат в крови!
Из сердца кровь струится!
Плачь, сердце, плачь...
Покоя нет! Степная кобылица
Несется вскачь!

Последнее стихотворение цикла возвращает к этому же тревожному предчувствию, и, хотя заканчивается восклицательным знаком, за ним ощущается смысловое многоточие:

Не может сердце жить покоем,
Недаром тучи собрались.
Доспех тяжел, как перед боем.
Теперь твой час настал. — Молись!

Эти стихи были написаны в 1908. Через шесть лет Первая мировая война — первая вестница необратимых мировых перемен.

Лирическая волна стихов «На поле Куликовом» докатилась и до «Песни Судьбы». Блок опять возвращается к многострадальному своему созданию. В новом фрагменте, вписанном в уже законченную драму, его герой вдруг вспоминает великое русское прошлое. Но образы из цикла «На поле Куликовом», вписавшись в драму, еще более запутали основную идею произведения. Блок любил свою «Песнь Судьбы», как мать любит больного дитя. И лишь через много лет, вернувшись к пьесе, вдруг решит, что это совершенно «дурацкое» произведение.

Неудача драмы искупалась лирикой и публицистикой. Конец 1908 принес два доклада Блока, прочитанных в Религиозно-философском обществе и затем переработанных в статьи: «Россия и интеллигенция» и «Стихия и культура». Блок говорит о той же неодолимой черте, которая пролегла между «несколькими сотнями тысяч», с одной стороны, и «полуторастами миллионов» — с другой. Он вспоминает гоголевскую «Русь-тройку», и провидит как неотвратимость: «Что, если тройка, вокруг которой “гремит и становится ветром разорванный воздух”, — летит прямо на нас... Можно даже представить себе, как бывает в страшных кошмарах, что тьма происходит оттого, что над нами повисла косматая грудь коренника и готовы опуститься тяжелые копыта». И, как и должно для петербуржца, миф о «Медном всаднике» (в «тяжелых копытах» коренника просвечивает и этот образ) соединяет стихию народного бунта со стихией наводнений — стихией природной. Вторая статья напоминает о страшном землетрясении в Мессине, когда в мгновение гибнет долговременное создание рук человеческих, и провидит грядущие катастрофы: «Мы еще не знаем в точности, каких нам ждать событий, но *в сердце нашем уже отклонилась стрелка сейсмографа*».

Тема России не отпускает Блока, и на исходе года рождаются не только последние стихотворения из цикла «На поле Куликовом», но и стихотворение «Россия»:

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые —
Как слезы первые любви!..

Появляется и мрачное в своем совершенстве стихотворение, в звуках которого оживает предчувствие ближайшего будущего:

Вот он — ветер,
Звонящий тоскою острожной,
Над бескрайною топью
Огонь невозможный,
Распростершийся призрак
Ветлы придорожной!..

Вот — что ты мне сулила:
Могилы.

Тему подхватывает стихотворение «Осенний день» («Идем по жнивью, не спеша...»), написанное в Новый год с тем же безошибочным чувством родины:

...И низких нищих деревень
Не счесть, не смерить оком,
И светит в потемневший день
Костер в лугу далеком...

О, нищая моя страна,
Что ты для сердца значишь?
О, бедная моя жена,
О чем ты горько плачешь?

За обращением к жене — новый поворот в судьбе Блока.

В конце ноября 1908 в записной книжке поэта появляется набросок так и не осуществленной драмы.

«Писатель. Кабинет с тяжелыми занавесками на окнах. Книги. Цветы. Духи. Женщина. Он — все понимающий. Она живет обостренной духовной жизнью. Глаза полузакрыты, зубы блестят сквозь полуоткрытые губы. Тушит огонь, открывает занавеску. Чужая улица, чужая жизнь. Тонкие мысли.

Посетители.

Ждет жену, которая писала веселые письма и перестала.

Возвращение жены. Ребенок. Он понимает. Она плачет.

Он заранее все понял и простил. Об этом она и плачет. Она поклоняется ему, считает его лучшим человеком и умнейшим...»

После описания душевной неустроенности героя, его тоски, мыслей о самоубийстве, надежд на Россию — заключительная фраза, которую Блок подчеркнул: «А ребенок растет».

Предтеча этого замысла — личные переживания, возвращение Любови Дмитриевны, ребенок, который родился 2 февраля и был назван в честь знаменитого дедушки-химика Дмитрием. Блок чувствует воодушевление, нежность, иногда он почти счастлив. Но, прожив неделю, мальчик умирает. Потемневший Блок чувствует себя усталым, потеряннным. На смерть Мити он откликнется горьким стихотворением:

...Я подавлю глухую злобу,
Тоску забвению предаю.
Святому маленькому гробу
Молиться буду по ночам...

В статье «Душа писателя», написанной в этот тяжелый месяц, не могло не сорваться: «Писательская судьба — трудная, жуткая, коварная судьба». В целом статья — это попытка через судьбу добытые истины подвести итог своему прошлому. Писатель должен напрягать внутренний слух, дабы уловить «мировой оркестр» души народной. В этом его единственное оправдание. Без этой самоотдачи и этой глубинной музыкальности литература становится, в сущности, праздным занятием. И только те, «кто исполнен музыкой, услышат вздох всеобщей души, *если не сегодня, то завтра*»...

После напряжения последних лет Блоку нужно забыть. 14 апреля они с Любовью Дмитриевной уезжают за границу. Они путешествуют по Италии и Германии. От Италии впечатлений много, но общее ощущение более чем критическое: «самая нелирическая страна». После нее в Германии он нашел «лиризм», близкую его духу готику, музыку Вагнера. И все-таки в Россию он возвращается уставшим. Его письмо-исповедь, посланное из-за границы матери, объясняет многое:

«Люди мне отвратительны, вся жизнь ужасна. Европейская жизнь так же мерзка, как и русская, — вообще вся жизнь людей во всем мире есть, по-моему, какая-то чудовищная грязная лужа... Мне хотелось бы очень тихо пожить и подумать — вне городов, кинематографов, ресторанов, итальянцев и немцев. Все это — одна сплошная помойная яма... Более чем когда-нибудь я вижу, что ничего из жизни современной я до сих пор не приму и ничему не покорюсь. Ее позорный строй внушает мне только отвращение. Переделать уже ничего нельзя, не переделает никакая революция. *Все* люди сгниют, *несколько* человек останется. Люблю я только искусство, детей и смерть. Россия для меня, — все та же лирическая величина. На самом деле — ее нет, не было и не будет».

Блок чувствует, что ему не для чего жить. Ему тягостен круг людей, которому он обречен (в записной книжке — «вот уже три-четыре года я втягиваюсь незаметно для себя в атмосферу людей, совершенно чуждых мне»), ему претит литература как стиль жизни («отказаться от литературного заработка и найти другой»). Но литература неотступно следует за ним. Вместо «Весов» и «Золотого руна» на сцену выходит новый журнал с большим будущим — «Аполлон». Античное название требовало и определенных имен. Выдающимися учеными-античниками были и поэт Вяч. Иванов, и И. Анненский, и Ф. Зелинский. Все они вошли в совет «Общества ревнителей художественного слова», которое было организовано при журнале. В совет выбраны были также редактор журнала Сергей Маковский, Михаил Кузмин и Александр Блок. Напечатанные в первом номере журнала «Итальянские стихи» Блока были восприняты многими старыми знакомыми с воодушевлением.

Но история «Аполлона» началась трагически. Иннокентий Анненский, для многих современников остававшийся лицом неувиденным (одни знали его как педагога, филолога, знатока античности, другие как переводчика Еврипида, третьи как автора тонких, редкого вкуса критических статей, и очень мало кто знал его лирику), давно стремился оставить педагогическое поприще и посвятить себя только литературному труду. Но его первая критическая статья о современной лирике произвела столь неожиданное впечатление на поэтов, близких журналу (вплоть до нелепых обид), что Анненский почувствовал и теневую сторону жизни литератора. Ощутил он на себе и редакторский произвол: публикацию его стихов Маковский отложил до следующего номера. Переживания, связанные с отставкой на педагогическом поприще, и разочарование в литературной жизни возымели действие. 30 ноября 1909 Иннокентий Анненский падает замертво от внезапного паралича сердца у подъезда Царскосельского вокзала. Известие об этой смерти застаёт Блока в Варшаве. Из письма к жене можно понять, насколько он поражен внезапной для него смертью Анненского. И кроме того, оказывается, он знал почти обо всем, что делал в последнее время этот поэт (фраза о двух «книгах»). Значит, Блок знал не только о стихах «Кипарисового ларца» (эта книга Анненского выйдет в 1910), но и о тех, которые войдут в «Посмертный сборник» и появятся лишь в 1923?

В Варшаве Блок оказался в связи со смертью отца.

«Возмездие»

Поезд на Варшаву запечатлелся в «записной книжке»:

«Отец лежит в Долине Роз и тяжело бредит, трудно дышит. А я — в длинном и жарком коридоре вагона, и искры освещают снег. Старик в подштаниках меня не тревожит — я один.

Ничего не надо. Все, что я мог, у убогой жизни взял: взять больше у неба — не хватило сил. Зброшен я на Варшавскую дорогу, так же, как в Петербурге. Только ее со мной нет, чтобы по-детски сучать, качать головой, спать, шалить, смеяться...»

Первая строка с выправленным названием варшавской улицы, где в больнице умирал отец Блока — «...лежит в Аллее Роз...» — войдет в поэму «Возмездие». «Она», без которой Блок скучает в дороге, — Любовь Дмитриевна.

Он приехал уже к похоронам. И сразу — 4 декабря — пишет письмо матери:

«Все свидетельствует о благородстве и высоте его духа, о каком-то необыкновенном одиночестве и исключительной крупности натуры».

Смерть Александра Львовича свела поэта с единокровной (по отцу) сестрой Ангелиной Александровной Блок. О ней в письме к жене он скажет с трепетом: «интересная и оригинальная», «очень чистая», «совсем ребенок, несмотря на 17 лет». Впоследствии Ангелине он посвятит один из лучших стихотворных циклов «Ямбы».

Вещие знаки не оставляли его в новый, 1910 год. В январе Блок взволнован появлением кометы Галлея, вокруг которой рождается множество толков и слухов. Она так и не задела хвостом атмосферу Земли, о чем многие говорили всерьез, но вестницей потрясений она стала, потому и оставила свой след в стихотворении «Комета», в поэме «Возмездие» и в апрельском докладе о русском символизме.

1910 год. Смерть в расцвете творческого таланта Веры Федоровны Комиссаржевской, с театром которой Блок был связан. Следом — смерть художника Михаила Врубеля. Отклики Блока на эти утраты — преддверие главного его выступления в «Обществе ревнителей художественного слова». 26 марта здесь произносит речь Вяч. Иванов, позже превратив ее в статью «Заветы символизма». 8 апреля поднятую тему подхватит Блок. Его доклад, вышедший под названием «О современном состоянии русского символизма», — это не только согласие с мнением Иванова, что символизм был призван ко многому, а оказался только поэзией. Эта статья — и мировоззрение Блока, и биография

его внутренней жизни. Чтобы понять эту «вторую жизнь», нужно видеть мир особыми глазами, нужно научиться ощущать тайную связь явлений.

Войны, революции, землетрясения и прочие стихийные бедствия воспринимаются им не только как политические, исторические или «геологические» события, но как часть вселенских потрясений в «мирах иных». И человеческая смерть для Блока не была случайной (в год кризиса символизма уйдут из жизни не только Комиссаржевская и Врубель, но и в конце года Лев Толстой). В судьбе Блока не жизненные обстоятельства бросают свет на то или иное произведение, но, напротив, его произведения проясняют его *путь*.

Это мы и вычитываем из его статьи-исповеди «О современном состоянии русского символизма», своеобразной духовной автобиографии. Поэт формулирует тезу и антитезу русского символизма и прочерчивает движение от первой ко второй — и далее к некоему синтезу, отражая свой собственный путь, который позже воплотится в трех книгах его стихотворений. Блок говорит языком, далеким от философии, но зато близким к языку мистиков. Он пытается выразить земным языком то, что с совершенной полнотой выразить на нем невозможно, и потому Блок то и дело отсылает читателя к своим стихам: именно там он выразил *невыразимое* на пределе своих сил.

Путь свой он ощутил в виде триады:

1. Явление Ее («Прекрасной Дамы», «Вечной Женственности», «Души Мира» и т. д.) и молитвенное состояние поэта, Ее призывающего (им проникнуты «Стихи о Прекрасной Даме»).

2. Ее уход, «отлет» (как в стихотворении, которое откроет вторую книгу лирики: «Ты в поля отошла без возврата...»). Поэт же, потеряв духовную связь с Высшим началом, погружается в «сине-лиловый мировой сумрак», где его преследуют «Двойники», где он встречается с «Незнакомкой» (вовсе не просто дама в черном платье со страусовыми перьями на шляпе, а «дьявольский сплав из многих миров, преимущественно синего и лилового»).

3. Жажда возвращения к жизни и проклятия искусству, которое мистическое переживание превратило в литературу, в поэзию. На этом пути и возникают темы *служения*, «народа и интеллигенции», «стихии и культуры», разрешенные Блоком в одноименных статьях. Именно здесь, на этом пути, рождается горькая любовь к Отечеству, доходящая до ясновидения (как в цикле «На поле Куликовом»). Для Блока то, что происходило с символистами, происходило и со всем мирозданием: «революция свершалась не только в этом, но и в иных мирах... Как сорвалось что-то в нас, так сорвалось оно и в России. Как перед народной душой встал ею же созданный синий призрак, так встал он и перед нами. И сама Россия в лучах этой новой (вовсе не некрасовской, но лишь традицией связанной с Некрасовым) гражданственности оказалась нашей собственной душой».

Народничество позднего Блока имело *мистическую* основу, в сущности, *ту же самую*, что и его ранняя лирика.

Его мировоззрение начинает «отвердевать», все яснее очерчиваются его контуры. Переживание, выразившееся в «Стихах о Прекрасной Даме», в чем-то подобно соловьевскому: видение Ее сопровождается ощущением преображенности, духовному оку поэта открывается религиозная основа мира, *связь* всего со всем. *Отсюда* приходит в его позднюю публицистику противопоставление цивилизации (механического начала) и культуры (начала органического). Потому бунтующий народ (одно из воплощений стихии, «духа музыки») для Блока становится носителем культуры (будущей), а «образованные классы» — рабами цивилизации, которым революция несет возмездие.

Первые наброски поэмы «Возмездие» относятся к июню 1910. Они сделаны в Шахматове. Здесь же Блок пишет стихотворение «На железной дороге»:

Под насыпью, во рву некошеном,
Лежит и смотрит, как живая,
В цветном платке, на косы брошенном,
Красивая и молодая...

Читатель легко узнавал толстовский образ Катюши Масловой из романа «Воскресение», простой девушки, которая также стояла на перроне и видела сквозь вагонное стекло любимое и ненавистное лицо бросившего ее барина Нехлюдова. Вспоминалась и Анна Каренина, покончившая с жизнью под колесами поезда.

И некрасовская «Тройка» («Что так жадно глядишь на дорогу...»), где в душе юной героини стихотворения при взгляде на каждую пролетающую тройку сплетается и надежда, и горечь: жизнь, как и тройка, проносится мимо.

В стихотворении Блока узнавалось все то же равнодушие людей, которые едут в железных вагонах тоже мимо:

Вставали сонные за стеклами
И обводили ровным взглядом
Платформу, сад с кустами блеклыми,
Ее, жандарма с нею рядом...

— людей, таких же безразличных, как колеса, режущие все, что ни попадет на пути. И бездушные цивилизации, воплотившейся в этих монотонных железных путях, и людское бездушие соединяются в последнем четверостишии в одно нерасторжимое целое:

Не подходите к ней с вопросами,
Вам все равно, а ей — довольно:
Любовью, грязью иль колесами
Она раздавлена — все больно.

Сравнение этого стихотворения с ранними произведениями поэта изумляет. Как поменялась картина мира поэта! Сначала в центре его поэтической вселенной — Она и только Она, все прочее — лишь то, что рядом с ней. Потом (как в «Незнакомке») — падшая женщина в падшем, грязном мире, за которым лишь в пьяном отчаянии можно увидеть «берег очарованный» и «очарованную даль». И, наконец, стихотворение, полное реалистических подробностей, черточек, предельно точных деталей, в котором точным сцеплением строк поэт достигает почти невозможного: в девять четверостиший вместилась целая повесть о горькой женской судьбе. Символы — «цветной платок», «тоска дорожная», «любовь», «грязь», «колеса» здесь спрятаны за реальными деталями. Только читая другие стихотворения, где есть «спицы расписные», «расхлябанные колеи» или «плат узорный до бровей», и статьи Блока, где он сталкивает понятия «цивилизация» и «культура», мы можем отчетливее увидеть символический план произведения.

Но в стихотворении, где угадывался мотив Льва Толстого, живет и предчувствие. 31 октября Блок едет в Москву, получив от издательства «Мусaget» предложение составить собрание своих стихов. Здесь, в Москве, и услышит он весть об уходе Льва Толстого из Ясной Поляны.

Осень 1910 — это новое сближение с Белым. Оно намного прозаичнее их первого знакомства. И все-таки, когда Белый прочитал статью «О современном состоянии русского символизма», статью об их несбывшихся надеждах, он нашел в письме к Блоку самый верный тон: «...Позволь мне Тебе принести покаяние во всем том, что было между нами». Признался Белый и в своем глубоком уважении к автору за его «слова огромного мужества и благородной правды».

Блоку отрадна эта поддержка: на символистов «первого призыва» его статья возымела совсем иное действие. Брюсову вообще претили любые попытки навязать поэзии чуждую цель, будь то общественное переустройство или чаяние нового откровения. Он всегда стоял за тезис: «Цель поэзии — сама поэзия». Гнев Мережковского был вызван иным: в статье Блока ему примерещилось уничижительное отношение к революции и готовность сотрудничать с властями. Блока выпады Мережковского покорили и бестактностью, и сходством с доносом. Но от печатных столкновений он отказался.

Составляя для «Мусagета» собрание своих стихотворений, поэт в согласии со своей статьей-исповедью «О современном состоянии русского символизма» хочет печатать их в трех томах. Для себя он определит эти три книги стихотворений как «трилогию вочеловечения».

Итогом кризисного года стало декабрьское выступление на вечере в Тенишевском училище, посвященном 10-й годовщине со дня смерти Владимира Соловьева. На основе

этого выступления родится статья «Рыцарь-монах». На мыслителя, который некогда поразил его своими стихотворными признаниями, он смотрит уже другими глазами. Самое дорогое для Блока в Соловьеве — сама его личность. Для поэта Вл. Соловьев — «носитель и провозвестник будущего», всем своим творчеством и жизнью воплотивший те предчувствия, которые родили к жизни и сам символизм.

«Он был одержим страшной тревогой, беспокойством, способным довести до безумия, — писал Блок. — Его весьма брэнная физическая оболочка была как бы приспособлена к этому; весьма вероятно, что человек вполне здоровый, трезвый и уравновешенный не вынес бы этого постоянного стояния на ветру из открытого в будущее окна, этих постоянных нарушений равновесия. Такой человек просто износился бы слишком скоро, он занемог бы или сошел с ума».

Эти метафизические ветры эпохи уже не веяли, а дули все упорнее и неотступнее. Их дыхание отчетливо проступило в замысле поэмы «Возмездие».

2 января 1911 года Блок ставит в поэме точку. И сразу чувствует упадок сил, и то, что в нынешнем виде поэма закончена, но не завершена. Первая редакция «Возмездия» станет лишь третьей ее главой. Эта поэма будет сопровождать Блока всю жизнь, так и не получив окончательного завершения. Не удовлетворенный некоторой тематической узостью своего детища (смерть отца, судьба сына), Блок расширяет тему произведения до осознания своих родовых связей. Он хочет проследить судьбу трех поколений русской семьи на фоне русской истории.

Тема найдет свое воплощение не только в незавершенной поэме, но и в разделах «Возмездие» и «Ямбы» из третьей книги стихов, в которые войдут знаменитые его стихотворения: «О доблести, о подвиге, о славе...»; «Кольцо существованья тесно...»; «Шаги командора»; «Я — Гамлет. Холодеет кровь...»; «Земное сердце стынет вновь...» и др.

Чувство «возмездия» не покидает поэта и в личной жизни: раздоры между женой и матерью удручают его. 17 мая он отправил Любовь Дмитриевну за границу, а сам едет в Шахматово. Здесь он проводит время с матерью, готовит к изданию стихи, к которым начинает испытывать отвращение («Пришла еще корректура “Ночных часов”. Скорее отделаться, закончить и издание “Собрания” — и не писать больше лирических стихов до старости»). В начале июля уезжает к Любове Дмитриевне в Бретань. Мать и жена не могут жить рядом, и ему приходится разрываться между ними.

Первоначальное впечатление от заграницы — отрада и успокоение — скоро проходит. Сквозь европейскую обыденность он все отчетливее видит всю нелепость западной цивилизации, за которой чувствует лик смерти. В письмах матери появляются жесткие характеристики:

«Париж — Сахара — желтые ящики, среди которых, как мертвые оазисы, черно-серые громады мертвых церквей и дворцов»... «Париж с Монмартра — картина тысячелетней бессмыслицы, величавая, огненная и бездушная»... «Брюгге, из которого Роденбах и туристы сделали “северную Венецию”, довольно отчаянная мура»... «Мне почти мучительно путешествовать; надоело, москиты кусают, жара, грязь и отвратительный дух этой опоганенной Европы»... «Надоело мне серый Берлин, отели, француско-немецкий язык и вся эта жизнь».

По возвращении он снова работает над «Возмездием». Чувство неотвратимых перемен заставляет его взяться за дневник. Появляется характерная запись:

«Весьма вероятно, что наше время великое и что именно мы стоим в центре жизни, то есть в том месте, где сходятся все духовные нити, куда доходят все звуки».

Но до начала потрясений, Первой мировой войны еще более двух с половиной лет. В атмосфере русской жизни повисла мрачная пауза. Блок ощутил ее как никто другой из современников. Это предвоенное время запечатлелось в одном из самых совершенных стихотворений Блока, написанного 10 октября 1912:

Ночь, улица, фонарь, аптека,
 Бессмысленный и тусклый свет.
 Живи еще хоть четверть века —
 Все будет так. Исхода нет.

Умрешь — начнешь опять сначала
 И повторится все, как встарь:
 Ночь, ледяная рябь канала,
 Аптека, улица, фонарь.

Самое жуткое, что ждет человека, — это понимание бессмысленности жизни, смерти, мироздания. Все это Блок сумел выразить в восьми строках. Вторая строфа стихотворения — это не просто отражение и пейзажа, и мыслей, запечатленных в первой. Но обратное движение символов: вместо «фонарь — аптека» теперь «аптека — фонарь», отраженное в «ледяной», т. е. «смертной» ряби канала, с предельной безнадежностью высветило идею «вечного возврата» к бессмысленному существованию. Безысходность, выраженная в стихотворении, усилена круговой композицией: человек обречен пребывать в извечном заключении, из которого нет выхода. За пленом жизни — плен смерти, за пленом смерти — плен жизни. И все в мире вращается и возвращается все — в безысходном замкнутом круге, как в смысловой и символический круг замкнуты и эти восемь строк, где картина переходит в мертвое отражение, и оживающее в «ледяной ряби» отражение — в мертвую картину.

В таком состоянии проходит весь 1912 год, который Блок отдал воплощению нового драматического замысла.

Пьеса «Роза и Крест» зародилась в марте сначала как сценарий балета из жизни провансальских трубадуров (музыку должен был писать композитор Глазунов), потом балет стал превращаться в оперу, а сценарий в либретто. Наконец к осени либретто стало приобретать черты драмы. Главного героя Бертрана называют Рыцарь-Несчастье. Сын ткача, он долгой службой добился посвящения в рыцари графом Арчимбаутом. Однажды на турнире его выбил из седла рыцарь с дельфином на гербе. Жена графа Изора, махнув платком, подарила ему жизнь. Теперь графиня тоскует, она поражена услышанными где-то словами из песни о радости-страдании. Всеми презираемый Бертран, тайно любящий свою госпожу, послан ею разыскать автора. Так несчастливец Бертран встречается с Гаэтаном, седовласым поэтом, рыцарем с крестом на груди, для которого мир воображаемый, мир легенд реальнее действительности. Доставленный к замку, Гаэтан спит под розовыми кустами. Утром он находит на груди черную розу, брошенную из окна Изорой. Бертран просит Гаэтана отдать розу ему. На празднике рыцарь с крестом на груди поет свою песню:

...Сдайся мечте невозможной,
 Сбудется, что суждено.
 Сердцу закон непреложный:
 Радость — Странанье одно...

Увидев седовласого поэта, Изора просыпается от наваждения. Она дарит любовь пажу Алискану. Во время нападения на замок войска графа Раймунда Бертран побеждает рыцаря с дельфином на щите. В бою он тяжело ранен. Однако стоит на страже, когда его госпожа встречается с изнеженным красавчиком Алисканом. Прижимая черную розу к груди и умирая от ран, он вдруг понимает странные слова песни Гаэтана: «Радость — Странанье одно». Звон выпавшего из его рук меча прерывает свидание любовников. Алискан успевает скрыться до прихода графа. Изора плачет над своим верным слугой.

Символ радости — роза, символ страдания — крест. Они раскрывают и суть жизненной драмы Блока. Его судьба словно осуществляется в согласии с заветом Достоевского: «В страдании счастья ищи».

19 января 1913 Блок закончил драму «Роза и Крест». Работа изнурила его. Он читает ее в литературных и театральных кружках. По лицам, по замечаниям слушавших

убеждается, что написал наконец «настоящее». Но скоро — сомнения. Самое тяжелое испытание — 27 апреля. Блок читает пьесу Станиславскому. Знаменитый основатель Художественного театра напряг всю свою волю и внимание, но пьесы не понял, ее трагического трепета не уловил.

«Печально все-таки все это, — пишет Блок через два дня. — Год писал, жил пьесой, она — правдивая... Но пришел человек чуткий, которому я верю, который создал великое (Чехов в Художественном театре), и ничего не понял, ничего не «принял» и не почувствовал».

В мае, чтобы еще раз проверить себя, Блок пишет «Записки Бертрана»: герой драмы рассказывает всю свою горькую жизнь. И через эти записки поэт снова чувствует: в прозе получилось «длинной, скучней», но — *верно*. Непонимание Станиславского говорило не о неудаче Блока, но о его одиночестве. Дневниковые записи подспудно говорят о том же, сказано ли это о Любове Дмитриевне (21 января: «Перед ночью — непоправимое молчание между нами, из которого упало слово, что она опять уедет»), об умершем сыне (10 февраля: «Четвертая годовщина смерти Мити. Был бы теперь 5-й год») или об Андрее Белом (11 февраля: «Не нравится мне наше отношение и переписка. В его письмах — все то же, он как-то не мужает, ребячливая восторженность, тот же кривой почерк, ничего о жизни, все почерпнуто *не* из жизни, из чего угодно, кроме нее»). О ком ни вспоминает поэт — он сразу чувствует преграду, отделяющую его от других людей.

Поражала современников редкая блоковская правдивость. О ней напишет не один мемуарист. Она же становилась и главной причиной его одиночества. Даже «мажорные», энергичные записи, например от 10 февраля, говорят о том же:

«Пора развязать руки, я больше не школьник. Никаких символизмов больше — один, отвечаю за себя, один — могу еще быть моложе молодых поэтов “среднего возраста”, обремененных потомством и акмеизмом».

Столь не любимый поэтом акмеизм именно в 1913 начал мощное наступление. Отношения с новым течением, с «Цехом поэтов» и его главным вдохновителем Н. Гумилевым складываются трудные. О первом заседании «Цеха» 20 октября 1911 Блок пишет с благодушием:

«Безалаберный и милый вечер... Молодежь. Анна Ахматова. Разговор с Н.С. Гумилевым и его хорошие стихи о том, что сердце стало китайской куклой... Было весело и просто. С молодыми добреешь».

18 февраля 1912 на заседании «Общества ревнителей художественного слова» после докладов о символизме Вяч. Иванова и А. Белого слово попросили участники «Цеха». Гумилев стал важно объяснять взволнованному Иванову, что символизм умер и его место теперь занимает новое поэтическое направление. Иванов не без издевки предложил назвать его «акмеизмом» — от греческого «акмэ» (вершина). Гумилеву насмешливый тон Иванова кажется неуместным. Новое литературное направление «акмеизм» провозглашено.

Лидерами акмеизма стали Сергей Городецкий и Николай Гумилев. Среди наиболее известных в будущем имен — Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Георгий Иванов. А. Белый, Блок и Вяч. Иванов готовы противопоставить энергичному акмеизму новое издание «Труды и дни». Но первый же номер разочаровывает Блока. Поэт, ждавший разговора «о человеке и художнике», увидел лишь разговор об искусстве. 17 апреля 1912 он пишет в дневнике черновик письма Белому. В нем признание: «Если мы станем бороться с неопределившимся и, может быть, своим (!) Гумилевым, мы попадем под знак вырождения. ...надо воплотиться, показать свое печальное человеческое лицо, а не псевдолицо несуществующей школы. Мы — русские». 21 ноября Блок заявляет Городецкому, что «Цех» нельзя принимать всерьез. 17 декабря он записывает в дневнике: «Придется предпринять что-нибудь по поводу наглежащего акмеизма...»

В первом номере журнала «Аполлон» опубликованы статьи Городецкого и Гумилева — два манифеста нового направления.

В глазах Городецкого конец символизма похож на самоубийство. Это направление превратило земной, красочный и звучащий мир в фантом. Акмеизм же, по его мнению, призван убрать «трупы» и начать новую поэзию.

Гумилев писал тоже наступательно, но в его словах слышалось и другое: «символизм был достойным отцом». Среди множества наивных положений у Гумилева прорывалось и что-то более существенное: «Русский символизм направил свои главные силы в область неведомого. Попеременно он брался то с мистикой, то с теософией, то с оккультизмом. Некоторые его искания в этом направлении почти приближались к созданию мифа». Но — от лица акмеизма произносит Гумилев — «непознаваемое, по самому смыслу этого слова, нельзя познать», кроме того, «все попытки в этом направлении — нецеломудренны».

Николай Степанович Гумилев, вечный подросток, задиристый, энергичный, неутомимый путешественник, а после — отважный воин, и поэзию брал «с боя». Его первый сборник «Путь конквистадоров», выпущенный еще гимназистом, — детский лепет в поэзии. Муштруя себя, он от сборника к сборнику становился все более крепким стихотворцем. Его лучшие стихи выйдут уже после зарождения нового направления. «Выдрессировав» себя, он «дрессирует» и других. Блоку идея «набивания руки» в поэзии кажется чудовищной. Для него поэзия — стихия, которая не поддается никакой «анатомии». А Гумилев даже пишет статью под названием «Анатомия стиха». Неприятие акмеизма будет сопровождать Блока до последних дней. Незадолго до смерти он напишет о «Цехе» резкую статью «Без божества, без вдохновенья...». При этом к хорошим стихам членов этого объединения будет относиться с уважением, но к попытке организовать любые объединения по «выделке» поэтов — с отвращением.

Лишь после смерти Гумилева, расстрелянного в августе 1921 петроградской ЧК, когда современники отойдут от первого потрясения, найдутся внимательные читатели его статьи. Они вспомнят и то, как Гумилев уже при большевиках крестился на каждый храм, вспомнят его преданность православию и нелюбовь ко всяким «религиозным умствованиям» и ощутят за словами главного акмеиста не стремление свести поэзию до ремесленного стихотворства, а желание вернуть доверие Божьему миру, поскольку во славу Божию и живет поэт. Ремесло — лишь подспорье в этом деле.

Странно, но когда на «Башне» у Вячеслава Иванова Блока вынудили высказаться об акмеистке Анне Ахматовой, его слова вроде бы так близки этим чаяниям Гумилева: «Она пишет стихи, как будто стоя перед мужчиной, а надо — как перед Богом». Но Бог Гумилева и Бог Блока разнятся между собой. Между поэтами стояла их творческая несовместимость.

Лирика Блока рождалась из музыки, из звуковой волны, которая приходила из неизвестных миров, заставляя ощущать ее ритмы и звуки всем своим существом. Гумилев рождает поэзию беззвучно: из общего рисунка стихотворения, подгоняя слово к слову, как живописец кладет мазок к мазку. Их судьбы будут идти разными путями — но приведут их к одному августу 1921.

В 1913 акмеизм неприемлем для Блока потому, что он не видит за ним никакой правды, как и вообще не видит правды в современности: «Это все делают не люди, а с ними делается: отчаяние и бодрость, пессимизм и акмеизм, «омертвление» и «оживление», реакция и революция», — заносит он в дневник 11 марта.

Но одиночество 1913 года было страшно и тем, что он ощущал границу не только между собой и людьми, собой и литературой. И последнее, быть может, самое страшное одиночество — чувство неодолимой преграды между собой и своим творчеством. Из-под его пера ничего не рождается. Весь год он почти ничего не пишет.

Затишье, мрачность, апатия. Его меланхолия превосходит обычные человеческие ощущения: он чувствует, что в серой обыденности сквозит мировой ужас: «Сегодня день тусклый и полный каких-то мелких огорчений, серостей. Просто удивительно, как это бывает последовательно, до жути» (26 февраля), — или: «Дни невыразимой тоски

и страшных сумерек — от ледохода, но не только от ледохода» (30 марта).

Заключительная дневниковая запись от 23 декабря 1913 (после нее он надолго забросит дневник) — как воспоминание обо всем годе: «Совесть как мучит! Господи, дай силы, помоги мне». Выход, выплеск этого чувства — несколько ранее, в единственной статье 1913 — «Пламень». Повод — книга Пимена Карпова, писателя из низов. Она поразила Блока не художественными достоинствами («Книга не только литературно бесформенна, она бесформенна во всех отношениях»), но той страшной «хлеборобной» силой, которая сочилась из неуклюжего детища Карпова: «автор “Пламени” — никто, книга его — не книга вовсе; писана она чернилами и печатана типографской краской, но в этом есть условность; кажется, автор прошел много путей для исполнения возложенной на него обязанности, обязанности не личной, а родовой, где-то в глубине веков теряющейся, и теперь выбрал путь «книжный»...». Говоря о книге, о том, как воспринял ее интеллигент, не поняв главного, того, что светится за сочинением Пимена Карпова, Блок воспламеняется и дает свое прочтение, которое более походит на озарение, на предощущение года 1917 и последующих: «были в России “кровь, топор и красный петух”, а теперь стала “книга”, а потом опять будет “кровь, топор и красный петух”... Кровь и огонь могут заговорить, когда их никто не ждет. Есть Россия, которая, вырвавшись из одной революции, жадно смотрит в глаза другой, может быть, более страшной».

Полоса молчания подходила к концу. Слабые лирические вспышки начались лишь с октября. Рядом с одним ноябрьским стихотворением в черновике помета: «Как “заржавели” стихи. Долго не писал...». И характерные строки из лирики октября — ноября — декабря: «Мы забыты, одни на земле...», «Все равно ведь никто не поймет, ни тебя не поймет, ни меня...», «И я прочту в очах послушных уже ненужную любовь...», «Он душу свою потерял...», «Он нашел весьма банальной смерть души своей печальной», «Взглянул в свое сердце... и плачу». Среди ноябрьских стихотворений затрепетала цыганская струна — воспоминание о цыганке Ксюше Прохоровой и о другой, года два назад говорившей странные, загадочные слова. И в них предчувствие цыганки Кармен, которая скоро явится ему в знаменитой опере Жоржа Бизе...

«Мы — дети страшных лет России...»

С началом нового, 1914 года Блок вынашивает замысел, который даст русской литературе одну из самых певучих, самых музыкальных поэм:

Я ломаю прибрежные скалы
Тяжким ломом...
Я ломаю графитные скалы...
Я ломаю приморские скалы
В час отлива...

Окончательный вариант придет не сразу. Для завершения «Соловьиного сада» понадобится более полутора лет. Они вместят очень многое.

В опере Жоржа Бизе «Кармен», которую давали в Театре музыкальной драмы, его поразила героиня — пронизанная огнем, волей, стихийной страстью. Блок чувствует магнетические токи, исходящие от исполнительницы главной роли актрисы Любови Александровны Андреевой-Дельмас. 14 февраля он посылает ей письмо с признанием:

«Я смотрю на Вас в “Кармен” третий раз, и волнение мое растет с каждым разом. Прекрасно знаю, что я неизбежно влюбляюсь в Вас, едва Вы появитесь на сцене. Не влюбиться в Вас, смотря на Вашу голову, на Ваше лицо, на Ваш стан, — невозможно. Я думаю, что мог бы с Вами познакомиться, думаю, что Вы позволили бы мне смотреть на Вас, что Вы знаете, может быть, мое имя. Я — не мальчик, я знаю эту адскую музыку влюбленности, от которой стон стоит во всем Существо и которой нет никакого исхода. Думаю, что Вы очень знаете это, раз Вы *так* знаете Кармен (никогда ни в чем другом, да и вообще — до этого “сезона”, я Вас не видел). Ну, и я покупаю Ваши карточки, совершенно непохожие на Вас, как гимназист и больше ничего, все остальное как-то давно уже совершается в “других планах” (дурацкое выражение, к тому же Вы, вероятно, “позитивистка”, как все настоящие женщины, и думаете, что я мелю вздор), и Вы (однако продолжаю) об этом знаете тоже “в других планах”, по крайней мере, когда я на Вас смотрю,

Ваше самочувствие на сцене несколько иное, чем когда меня нет...»

Он ощущает нечто подобное времени «Снежной маски». Но лирическая волна подходит к нему накатами. 27 февраля закончено одно из самых мрачных стихотворений «Голос из хора», которое он начал еще в 1910 году, полное темных пророчеств:

...Ты будешь солнце на небо звать, —
Солнце не встанет.
И крик, когда ты начнешь кричать,
Как камень, канет...

Будьте ж довольны жизнью своей,
Тише воды, ниже травы!
О, если б знали, дети, вы,
Холод и мрак грядущих дней!

Но следом накатывает другая волна, восторга, упоения и губительной страсти:

Как океан меняет цвет,
Когда в нагроможденной туче
Вдруг полыхнет мигнувший свет, —
Так сердце под грозой певучей
Меняет строй, боясь вздохнуть,
И кровь бросается в ланиты,
И слезы счастья душат грудь
Перед явленьем Карменситы.

Через два дня, 6 марта, в записной книжке появится запись:

«Во всяком произведении искусства (даже в маленьком стихотворении) — больше *не искусства*, чем искусства.

Искусство — радий (очень малые количества). Оно способно радиоактивировать все — самое тяжелое, самое грубое, самое натуральное: мысли, тенденции, “переживания”, чувства, быт. Радиоактивированью поддается именно *живое*, следовательно — грубое, мертвого просветить нельзя.

...Люблю в “Онегине”, чтоб сжалось сердце от крепостного права. Люблю деревянный квадратный чан для собирания дождевой воды на крыше над аптечкой возле Plaza de Toros в Севилье (Музыкальная драма “Кармен”). Меня не развлекают, а мне помогают мелочи (кресла, уюты, вещи) в чеховских пьесах (и в “Кармен”, например, тоже)...»

Стихи цикла «Кармен», эта яркая творческая вспышка в марте 1914, рождаются не из искусства, но приходят как вестники «из других планов». Блок робеет знакомиться с актрисой. Его волнует каждый ее жест и «песня... нежных плеч». Он, глядя на нее издали, провожает глазами, стоит у дверей ее дома и не решается шагнуть далее. Он похож на влюбленного подростка, которого волнует каждое Ее приближение. 28 марта они наконец знакомятся. В этот день родилось стихотворение «Ты — как отзвук забытого гимна...», ритмом и мелодией подобное эху еще не законченного «Соловьиного сада»:

...И проходишь ты в думах и грезах,
Как царица блаженных времен,
С головой, утопающей в розах,
Погруженная в сказочный сон.

Спишь, змеєю склубясь прихотливой,
Спишь в дурмане и видишь во сне
Даль морскую и берег счастливый,
И мечту, недоступную мне...

31 марта написано последнее стихотворение цикла. С апреля по начало июня Блок и Дельмас почти неразлучны. С расставанием снова приходит апатия.

Но в воздухе уже слышна тревога. Еще 28 февраля Блок заносит в записную книжку: «Пахнет войной». Его любовное переживание этого года стало предвестником иных событий. Все разрешилось 19 июля 1914. В этот день Россия вступила в войну с Германией, которая впоследствии будет названа Первой мировой. Лето 1914 уже совершенно отчетливо прочертило границу между мрачным прошлым и жутким будущим.

1 сентября Блок написал одно из вершинных своих стихотворений. Простое и страшное:

Петроградское небо мутилось дождем,
На войну уходил эшелон...

Редкая точность деталей. Будни военного времени:

И, садясь, запевали *Варяга* одни,
А другие — не в лад — *Ермака*,
И кричали *ура*, и шутили они,
И тихонько крестилась рука.

И жуткая тревога. Она единым порывом входит в душу сквозь совершенно реальную картину:

Вдруг под ветром взлетел опадающий лист,
Раскачнувшись, фонарь замигал,
И под черною тучей веселый горнист
Заиграл к отправленью сигнал.

В последние две строки провидец Блок сумел вместить всю грядущую русскую историю: ничего не подозревает «веселый горнист», но за «черной тучей», над ним нависшей, знак катастрофических перемен, переворотов самых основ жизни. За горнистом, сыгравшим «к отправленью сигнал», Россия, шагнувшая в войну. И шаг этот роковой. В следующей строфе уже явственно всплывает общее щемящее чувство прощания:

И военной славой заплакал рожок,
Наполняя тревогой сердца.
Громыханье колес и охрипший свисток
Заглушило *ура* без конца.

Но если для людей, заполнивших эшелон, — это только прощание с родными и близкими, их тревога обычна для военного времени, то для поэта за нею большее, куда более страшное. Прошлое России ушло бесповоротно. Навсегда. И хотя поэт пытается заглушить свои чувства: «нам не было грустно, нам не было жаль», в последних строчках, где «пожар», «гром орудий», «топот коней» и самое страшное, ранее не бывалое ни в одной войне, — «отравленный пар» (т. е. ядовитые газы) «с галицийских кровавых полей», будущее встает перед ним немым вопросом. Тревогу за будущее родины лишь подчеркивает многоточие, завершающее стихотворение.

Чувство надвигающейся гибели с редкой отчетливостью и той особой точностью, когда поэт говорит за целое поколение, Блок выразил в знаменитом стихотворении, написанном через неделю после начала войны:

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы — дети страшных лет России —
Забить не в силах ничего.

Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды ль весть?
От дней войны, от дней свободы —
Кровавый отсвет в лицах есть...

Каждый стих поражал современников абсолютной точностью найденной формулы. Многие, очень многие воспринимали это стихотворение, как рассказ о своей собственной судьбе.

3 сентября Любовь Дмитриевна уезжает на фронт, где будет самоотверженно работать сестрой милосердия в военно-полевом госпитале. Вслед за воодушевлением первых дней войны на поэта опять нахлынула тоска. Он спасается работой, готовит к изданию стихотворения Аполлона Григорьева, к тому времени забытого поэта; посещает библиотеки. Работает методично и уверенно. Но за внешней исправностью — гибельный разгул и в стихах Григорьева, и самого Блока. Тут затрепетала все та же страстная

цыганская струна. Любимый Блоком цикл Григорьева «Борьба» дал русской литературе строки, которые кажутся безымянными и вечными словами цыганского романса:

Две гитары за стеной
Жалобно заньли.
Сердцу памятный напев:
Милый, это ты ли?..

В январе 1915 поэт завершает вступительную статью к этому изданию: «Судьба Аполлона Григорьева». За некоторыми строками автобиографический трепет: «В судьбе Григорьева, сколь она ни «человечна» (в дурном смысле слова), все-таки вздрагивают отсветы Мировой Души...»

Весь 1915 год прошел в литературной работе. Блок чувствует себя не у дел, мучается тем, что в общей беде военных лет он не ощутил себя нужным человеком.

27 мая увидела свет его книга «Стихи о России». Почти полностью она войдет в раздел «Родина» третьей книги стихов. Своей поэтической мощью и глубинной правдой книга поразила людей, не имевших между собой ничего общего. Она заставила по-другому посмотреть на Блока М. Горького. Она же заставила декадента Георгия Иванова, поэта с огромным, но пока еще далеким будущим, произнести в своем отклике вещице слова:

«Мы и не подозревали, читая в каталогах об этой маленькой книжке «военных» стихов, что на серой бумаге, в грошовом издании, нас ожидает книга из числа тех, которые сами собой заучиваются наизусть, чьими страницами можно дышать, как воздухом...»

14 октября 1915 Блок заканчивает поэму «Соловьиный сад». Она будет опубликована 25 декабря в газете «Русское слово», второй раз — 28 ноября 1917 в «Воле народа». Но замечена будет лишь после того, как выйдет отдельной книжкой в июле 1918. К тому времени шедевр Блока будет настолько неизвестен, что «Соловьиный сад» примут за новое произведение, преодолевшее поэму «Двенадцать».

«Соловьиный сад» — тайный рассказ о своем поэтическом пути. Сюжет поэмы заставляет вспомнить легенды, в которых земной герой попадает в мир небожителей. Человек, знавший настоящую жизнь, изнурительный труд:

Я ломаю слоистые скалы
В час отлива на илистом дне,
И таскает осел мой усталый
Их куски на мохнатой спине... —

оказывается в зачарованном месте, в саду, где его ждут соловьи, розы, любовь. Сюда не доходят земные тревоги, жизнь в волшебном саду не знает забот и печалей, кажется, что и само время здесь остановилось. И все же что-то томит героя, до него долетает дальний крик осла. Он вспоминает о прежней жизни, покидает соловьиный сад. Но прошлое ушло безвозвратно:

Где же дом? — И скользкой ногою
Спотыкаюсь о брошенный лом,
Тяжкий, ржавый, под черной скалою
Затянувшийся мокрым песком...

Место же героя — занято другим:

А с тропинки, протоптанной мною,
Там, где хижина прежде была,
Стал спускаться рабочий с киркою,
Погоня чужого осла.

С первых же строк поэма завораживает своей музыкой. Нежный, перетекающий из слова в слово звук «л» (ровный звук волн и влажный воздух) перебивался стучащими «ст» и «ск» (звук кирки, бьющей в «слоистые скалы»). Поющие, перекатывающиеся звуки поэмы напоминали соловьиные трели, усиливая ощущение магического плена

в соловьином саду. Но герой Блока не может уйти от земных тревог навсегда и погрузиться в забвение:

Пусть укрыла от дольного горя
Утонувшая в розах стена, —
Заглушить рокотание моря
Соловьиная песнь не вольна!

И вступившая в пень тревога
Рокот волн до меня донесла...
Вдруг — виденье: большая дорога
И усталая поступь осла...

Уже XIX век уводил русских поэтов от обычного человеческого счастья, но еще оставлял надежду на творческое одиночество, что с предельной точностью выразил Пушкин:

На свете счастья нет,
Но есть покой и воля...

Начало XX века отняло у человека всякую надежду на покой. На недолгое время еще оставалась возможность проявить свою волю — уйти от плена «Соловьиного сада» в неизбежность. К концу 1910-х и началу 1920-х, то есть к концу жизни, Блок почувствует, что и воли у человека больше нет, и в стихах «Пушкинскому дому» скажет о «тайной свободе» — последнем пристанище поэта. Но прежде чем произнести эти слова, нужно было впустить в свою поэзию и заново пережить трагедию русской истории.

1916 год проходит в новых попытках Московского Художественного театра поставить «Розу и Крест». Блок едет в Москву, участвует в репетициях, но постановка опять затягивается. Второе издание трехтомного собрания стихотворений и книги «Театр», вышедшее весной, разошлось невероятно быстро. Сам же поэт, уставший от ощущения своей ненужности, полагает, что писать стихи ему больше не следует, он «слишком» это умеет. «Надо еще измениться (или чтобы вокруг изменилось), чтобы вновь получить возможность преодолевать материал».

В 1916 Блок пишет последние стихи перед новой полосой молчания. Среди них хрестоматийные: «Превратила все в шутку сначала...», «Ты твердишь, что я холоден, замкнут и сух...», «Коршун». Последнее — одно из самых пронзительных слов о России:

...Идут века, шумит война,
Встает мятеж, горят деревни,
А ты всё та ж, моя страна,
В красе заплаканной и древней. —
Доколе матери тужить?
Доколе коршуну кружить?

7 июля Блок призван в действующую армию. Он зачислен табельщиком в инженерно-строительную дружину.

Армейская жизнь, простая и «внятная», чем-то даже нравится Блоку. Но сами впечатления от войны тягостные. В статью 1918 «Интеллигенция и революция» войдут его воспоминания об этом времени:

«Болота, болота, болота; поросшие травой или занесенные снегом; на западе — унылый немецкий прожектор — шарит — из ночи в ночь; в солнечный день появляется немецкий фоккер; он упрямо летит одной и той же дорожкой; точно в самом небе можно протоптать и загадить дорожку; вокруг него разбегаются дымки; белые, серые, красноватые (это мы его обстреливаем, почти никогда не попадая; так же, как и немцы — нас); фоккер стесняется, колеблется, но старается держаться своей поганой дорожки; иной раз методически сбросит бомбу; значит, место, куда он целит, истыкано на карте десятками рук немецких штабных; бомба упадет иногда — на кладбище, иногда — на стадо скотов, иногда — на стадо людей; а чаще, конечно, в болото; это — тысячи народных рублей в болоте.

Люди глазуют на все это, изнывая от скуки, пропадая от безделья; сюда уже успели перетаскать всю гнусность довоенных квартир: измены, картеж, пьянство, ссоры, сплетни.

Европа сошла с ума: цвет человечества, цвет интеллигенции сидит годами в болоте, сидит с убеждением (не символ ли это?) на узенькой тысячеверстной полоске, которая называется «фронт»...

Февральскую революцию Блок принял с воодушевлением. Получив отпуск, он прибыл в Петроград. В распоряжение своей части он больше не вернулся. 8 мая его назначают редактором Чрезвычайной следственной комиссии при Временном правительстве, которая занята расследованием деятельности царских сановников и министров. Блок присутствует во время допросов, его записные книжки полнятся характеристиками. Все эти материалы лягут в основу его большого очерка, написанного намеренно сухо, «Последние дни императорской власти». (Впервые под названием «Последние дни старого режима» эта книга выйдет в 1919).

Год 1917 для Блока — начало иной, непривычной жизни. Попытка обновить страну порождает множество комитетов, комиссий, совещаний. Блок получает множество приглашений. После октября 1917 это существование во всевозможных объединениях и организациях станет делом уже обычным.

Блок предчувствует новый излом истории. И это ощущение надвигающихся перемен окончательно отдаляет его от бывших литературных друзей.

Накануне октябрьских событий, перевернувших историю России, известный эсер Савинков пытается создать антибольшевистскую газету. Питерская литературная интеллигенция готова ее поддержать. Зинаида Гиппиус зовет видных писателей прийти на первое собрание. Когда она с тем же обратилась к Блоку, сначала услышала паузу. Затем: «Нет. Я, должно быть, не приду... Я в такой газете не могу участвовать...»

Она обескуражена. Задает вопрос, который ей самой кажется нелепым: «Уж вы, пожалуй, не с большевиками ли?»

И прямодушный Блок отвечает открыто и честно: «Да, если хотите, я скорее с большевиками».

Когда в начале ноября новые хозяева России созовут в Смольном представителей литературно-художественной интеллигенции, готовой сотрудничать с советской властью, Блок будет одним из первых, кто откликнется на этот призыв. Он был полон надежд на великое обновление России.

«Ничего, кроме музыки, не спасет»

Январь 1918. Петроград. Трамваи не ходят. Страшный мороз, голод, звуки стрельбы. В жизни Блока — творческая вспышка редкой силы.

Новый год он встречает с женой. В записной книжке записи, в которых голос предчувствия: «Страшный мороз, молодой месяц *справа над Казанским собором*. К вечеру тревога (что-то готовится)». 3 января еще одна важная строчка: «К вечеру — ураган (неизменный спутник переворотов)». Этот «ураганный» вечер прошел в разговоре с Есениным. Тот читает строки из «Инонии», свой отклик на революционное время. Звучат страшные слова:

...Тело, Христово тело
Выплываю изо рта.

Для людей старшего поколения — чудовищные, кошунственные строки.

Есенин раскрывает Блоку их настоящий смысл: он «выплывает Причастие» не из кошуна, но оттого, что не хочет страдания, смирения, сораспятия. Блок, узнав, что Есенин из крестьян-старообрядцев, готов видеть в его стихах и ненависть старообрядца к православию. Не из этого ли разговора рождается в поэме «Двенадцать» образ попа? «Помнишь, как бывало брюхом шел вперед...»

Есенин чувствует в себе голос новой пугачевщины: время смирения для мужика прошло. Блок готов принять возмездие. Но крестьянский поэт иначе ощущает отношение народа к интеллигенции: интеллигент мается «как птица в клетке; к нему протягивается рука здоровая, жилистая (народ); он бьется, кричит от страха. А его возьмут... и выпустят...» Есенин взмахнул рукой, будто выпускает птицу. Не этот ли жест,

увиденный сквозь зарево «мирового пожара», скоро отзовется зловещей приговоркой в поэме: «Ты лети, буржуй, воробышком...»

Разговор с Есениным лишь подлил масла в огонь. Свое ощущение настоящей минуты Блоку поначалу легче выразить языком статьи.

Он ее начал еще 30 декабря. Тема вынашивалась давно, к ней Блок был готов подступить и раньше. 13 июля 1917 он занес в записную книжку:

«Буржуй называется всякий, кто накопил какие бы то ни было ценности, хотя бы и духовные. Накопление духовных ценностей предполагает предшествующее ему накопление материальных».

Когда мы встретим в «Двенадцати» образ: «Стоит буржуй на перекрестке, и в воротник упрятал нос...» — в нем различим и «писатель-вития», интеллигент, всю жизнь копивший «духовные ценности».

Статья рождается за полторы недели. Рукой поэта водит чувство: старый мир, который он сам и многие ему подобные носят в себе, немощен, дни его сочтены. В дневнике Блок ищет нужные слова, чтобы выразить свое чувство судеб русской интеллигенции. Образ мужика, «жилистой рукой» выпускающего интеллигента из клетки, стоит перед мысленным взором, когда Блок говорит о своем сословии:

«Любимое занятие интеллигенции — выражать протесты: займут театр, закроют газету, разрушат церковь — протест. Верный признак малокровия: значит, не особенно любили свою газету и свою церковь» (запись в дневнике).

Потому столь чужда ему идея защиты Учредительного собрания (его разгонят на следующий день, 6 января):

«Втемную выбираем, не понимаем. И почему другой может за меня быть? Я один за себя. Ложь выборная (не говоря о подкупах на выборах, которыми *прогремели* все их американцы и французы)».

Рядом с образом интеллигента-«буржуя» растет тема «Россия и Европа» — главный мотив стихотворения «Скифы».

Под пером Блока рождается статья «Интеллигенция и революция». Стихия, даже принося разрушение, животворит. В ней не только сила, в ней — очищающее грядущее. И Блок поет гимн темной, жестокой народной стихии, которая родит новых людей: «...они могут в будущем сказать такие слова, каких давно не говорила наша усталая несвежая и книжная литература».

Интеллигенция разочарована в народе, годами разжигала костер, а когда пламя взвилось — стала кричать: «Ах, ах, сгорим!» Но художник *обязан* слушать мировую «музыку», и отсюда — призыв поэта: «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте Революцию».

Блок готов принять гибель ради того, чтобы дряхлый мир сгорел как птица Феникс, а из его пепла возник новый мир. Сиюминутные чаяния интеллигенции ему совершенно чужды, она лишена способности слышать музыку исторических изломов. Его собственный «неземной» слух достигает предельной остроты. О своих ощущениях в новый 1918 год запишет:

«На днях, лежа в темноте с открытыми глазами, слышал гул: думал, что началось землетрясение».

Стихийный поворот истории, услышанный Блоком, напоминает ему другой, сходный, почти двухтысячелетней давности, запечатленный в Евангелии. 7 января приходит замысел пьесы об Иисусе. Он возник в родственном круге идей темы «интеллигенция и народ»:

«Иисус — художник. Он все получает от народа (женственная восприимчивость). “Апостол” брякнет, а Иисус разовьет. Нагорная проповедь — митинг».

Приметы времени ложатся неожиданным отпечатком и на образы действующих лиц:

«У Иуды — лоб, нос и перья бороды, как у Троцкого».

Все нити сошлись воедино: Россия находится на историческом изломе, который определит будущее всего мира. Все образы и приметы нынешней минуты «поп», «писатель», «буржуй», «жилистая рука» народа, плакат «Вся власть Учредительному собранию» — зазвучали в единой, странной, нечеловеческой мелодии. 8 января звуковой напор, столь долго и мучительно водивший его чувствами и мыслями, выплескивается в строки:

Уж я ножичком —
полосну, полосну.

Поэма «Двенадцать» начинается с середины.

9 января Блок закончил статью «Интеллигенция и революция». С 8 по 28 января несколькими рывками создает поэму «Двенадцать». За один рывок она не могла быть написанной, живая музыка захлебнулась в истории: настоящее было слишком неустойчиво. В паузах между поэтическими взрывами крепнет еще одна тема.

11 января прерваны переговоры в Брест-Литовске. Германские войска начинают наступление. Блок все отчетливее ощущает свою ненависть к нынешней Европе: «Тычь, тычь в карту, рвань немецкая, подлый буржуй. Артачься, Англия и Франция. Мы свою историческую миссию выполним». Через несколько строк в дневниковых записях — прообраз стихотворения «Скифы»:

«Мы на вас смотрели глазами арийцев, пока у вас было лицо. А на морду вашу мы взглянем нашим косящим, лукавым, быстрым взглядом; *мы скинемся азиатами*, и на вас прольется Восток.

Ваши шкуры пойдут на китайские тамбурины. Опозоривший себя, как изолгавшийся, — уже не ариец.

Мы — варвары? Хорошо же. Мы и покажем вам, что такое варвары. И наш жестокий ответ, страшный ответ — будет единственно достойным *человека*».

19 января в газете «Знамя труда» появляется статья «Интеллигенция и революция». Многие знакомые и некогда духовно близкие люди отворачиваются от Блока. Мережковские признают: статья искренняя. Но простить Блоку его жестокой правды не могут. Он в записной книжке не может удержаться от ответа: «Господа, вы никогда не знали России и никогда ее не любили!»

Поэма пока не движется. Он участвует в работе комиссии по изданию русских классиков. Встает вопрос о новой орфографии, без буквы «ять», без «і», без твердого знака на конце слов, разработанной еще при Временном правительстве. Блок не возражает против нового правописания, но не может освободиться от сомнений: опасается «за объективную потерю кое-чего для художника, а *следовательно*, и для народа». Русскую классику XIX века он предпочел бы видеть в старой орфографии. Новые писатели пусть черпают свою творческую энергию в новом правописании.

События следуют одно за другим: церковь отделяют от государства, выходит декрет о новом календаре — 1 февраля сразу станет 14-м. Блок хочет писать свое, продолжить пьесу об Иисусе. Вместо этого 27 января снова звучит ритм «Двенадцати». 29-го он записывает свое впечатление от созданного: «Сегодня я — гений». 30-го пишет стихотворение «Скифы». Все, о чем думалось многие годы и что было пережито в январе, вылилось в два поэтических произведения. Первое — вихревое, рваное, завораживающее своей метельной музыкой. Второе — гневная риторика, доведенная до четких историософских формул. Через несколько лет в эмиграции возникнет течение евразийцев. Они унаследуют от славянофилов чувство органического развития народа. Но «органику» России увидят иначе: не славянство, но — Евразия, огромный континент, огромная мозаика народов с общей судьбой и родственной психологией.

Статьей «Интеллигенция и революция» Блок открыл последний поэтический взлет, «Скифами» закрыл. Главное последнее великое поэтическое создание Блока — поэма «Двенадцать».

Наиболее чуткие современники, даже далекие от блоковских идей, поражены завораживающим ритмом и словесной точностью поэта. Налицо были все приметы

времени: и снежная метель, и плакат, и типажи: старушка, проститутки, буржуй, красноармейцы, приبلудный пес... Даже реплики: «Предатели! Погибла Россия!» — «Эй, бедняга! Подходи — поцелуемся...» — «Уж я ножичком полосну...» — словно выступили из январской метели 1918.

Но и в столь «реалистической» поэме Блок оставался самим собой. Осколочные записи в черновике частично раскрывают символику названия: «*Двенадцать* (человек и стихотворений)... *И был с разбойником. Жило двенадцать разбойников*». (Последняя строка — искаженная цитата из некрасовской поэмы «Кому на Руси жить хорошо», баллада о разбойнике Кудеяре.)

Символ «Двенадцать» пытались истолковать, сравнивая поэму и евангельскую историю. Двенадцать красноармейцев — двенадцать апостолов. Сопоставление напрашивается само собой и потому, что впереди блоковских «апостолов-разбойников» неясный силуэт Христа, и потому, что имена красноармейцев (Петруха, Андрюха, Ванька) повторяли имена апостольские (Петр, Андрей, Иоанн). Невоплощенный замысел пьесы об Иисусе целиком впитала в себя поэма.

Но символ не может иметь однозначного толкования. Почему бы и не «двенадцатый час двенадцатого месяца», т. е. канун нового года, символ нарождающегося нового мира? Символ — не столько ответ, сколько вопрос, обращенный в будущее. В нем живет предвидение.

Позже исследователи пересчитают и количество стихов в поэме. Их окажется 335... если не считать еще один, маркированный стих. Эта строка из точек стоит в середине 6-й главки, разрезая ее пополам. Самим положением Блок подчеркнул ее неслучайность: 336 стихов — это еще одна «проекция» главного символа поэмы ($3 + 3 + 6 = 12$).

«Музыка», которая «кристаллизовалась» в этом символе, родила не только «Двенадцать». Ее звучание ощутимо во всех поздних статьях Блока, от «Интеллигенции и революции» до «Крушения гуманизма». Гул, услышанный им накануне «Двенадцати», прокатился по всей его прозе 1918–1921, вплоть до рецензий и заметок. С 1918 окончательно и бесповоротно Блок ощущает свое место и в жизни, и в истории только по слуху.

Некогда Блок точно определил свой путь: «трилогия вочеловечения». Ранние стихи часто туманны и возвышенны. Поздние порой удивительно реалистичны. И вместе с тем все равно возвышенны. И по-прежнему светятся символами.

Поэт менялся... И если Блок периода «Прекрасной Дамы» в большей степени видящий («Вижу очи Твои»), то позже, когда «душа Мира» словно решила покинуть «тело мира», оставив его на произвол мелких людских (или дьявольских?) страстей, он все больше и больше превращается в слышащего. Чтобы разглядеть Христа в конце «Двенадцати», ему приходится вглядываться в столбы метели, как близорукому в расплывчатый текст. Все чаще в его статьях, записных книжках, дневниках появляется слово «музыка».

Давно, еще в 1903, в только что начатой переписке с Андреем Белым, когда Блок еще «зряч», его больше волнует вопрос, как понимать этот термин, уже расхожий в символистской среде:

«Я до отчаянья ничего не понимаю в музыке, от природы лишен всякого признака музыкального слуха, так что не могу говорить о музыке как искусстве ни с какой стороны... По всему этому я буду писать Вам о том, о чем мне писать необходимо, не с точки зрения музыки-искусства, а с точки зрения интуитивной, от голоса музыки, поющего внутри...»

В декабре 1906 Блок знакомится с первоисточником многих идей русского символизма — книгой Ницше «Происхождение трагедии из духа музыки». В 1909 — слово и усвоено, и «природнено», звучит не по-ницшеански, а по-блоковски, но пока только касается «души писателя»:

«Неустанное напряжение внутреннего слуха, прислушивание как бы к отдаленной музыке есть неперемненное условие писательского бытия. Только слыша музыку отдаленного “оркестра” (который и есть

“мировой оркестр” души народной), можно позволить себе легкую “игру”...»

В статьях последних лет музыка сквозной образ-понятие-символ блоковского мира вообще. В этом слове концентрируется главное Слово Блока. Поэт и в прозе своей в первую очередь художник и провидец. Он не утверждает, а закликает, не «приходит к выводам», а пророчествует:

«Художнику надлежит знать, что той России, которая была, — нет и никогда уже не будет. Европы, которая была, нет и не будет. То и другое явится, может быть, в удесятеренном ужасе, так что жить станет нестерпимо. Но того рода ужаса, который был, уже не будет».

Это сказано 13 мая 1918 года. Тон прорицателя, и тон неподдельный: Блок всегда был предельно честен в каждом своем слове. Ополчаясь против попыток «гальванизировать труп» — не таким же ли образом, как в стихах («О, если б знали, дети, вы холод и мрак грядущих дней»), он указал на ожидаемое и уже узнаваемое нами будущее — «явится... в удесятеренном ужасе», «жить станет нестерпимо». По мнению многих, близко знавших Блока людей, он и умрет потому, что в 1921 жить ему станет нестерпимо.

Музыка Блока — не просто заимствование из Ницше. В этом слове можно расслышать и соловьевское «всеединство». Блоковское противопоставление культуры и цивилизации (статья 1920 «Крушение гуманизма») — это как раз противопоставление организма (культуры) механизму (цивилизации). Культура пронизана единым духом, она целостна. Цивилизация кусочна, механистична. Одно к другому здесь подогнано, как одна часть машины к другой. Блок — за синтетическое видение мира, за универсализм (против всякой чрезмерной специализации, в которой не живет «дух целого»). Потому с таким раздражением и обрушится он в 1921 на акмеистов (статья «Без Божества, без вдохновенья»). За стремлением Гумилева учить начинающих «слагать стихи» Блок увидит опасные симптомы узкой специализации, т.е. нечто безмузыкальное.

«Блок не рассуждал о Вечной Женственности: он жил ею», — писал о ранней лирике поэта его биограф Константин Мочульский. И теперь, в поздних статьях, Блок вовсе не теоретизирует, а просто высказывает то, что ощущается им непосредственно. Музыка становится его дыханием (к концу жизни он будет задыхаться и произнесет вещие слова: Пушкина «убило отсутствие воздуха»).

Особый, мистический историзм Блока проснулся в нем до основных потрясений двадцатого века. В октябре 1911, полный предчувствий, он записывает в дневнике:

«Писать дневник, или по крайней мере делать от времени до времени заметки о самом существенном, надо всем нам. Весьма вероятно, что наше время — великое и что именно мы стоим в центре жизни, т. е. в том месте, где сходятся все духовные нити, куда доходят все звуки».

Как часто эти слова читались с усмешкой: «в центре жизни»? а не в центре ли небольшой кучки интеллигентской элиты? Но великий поэт всегда выходит за рамки своего окружения, как выходит и за грань своего времени. Он чувствует и глубже, и дальше современников, а иногда и потомков. Блок чувствовал себя, Россию, весь мир как целое, как единый организм, сам он был нервом, «чувствилищем» этого целого. И конечно, как великий поэт, он находился в центре жизни. От поэзии и прозы Блока исходит предчувствие российских и мировых катастроф, которые к концу XX века уже во многом осуществились, пронеслись над землей, перекоржили жизнь.

6-я главка поэмы «Двенадцать». Маркированный стих делит шестую главку пополам, вторгаясь в центральную строфу:

Трах-тарарах! Ты будешь знать

.....

Как с девочкой чужой гулять!..

Крепкое выражение (с возможной рифмой на «мать»)? Или резкая пауза? Или чуткое ухо поэта вслушивается в Музыку, в то невыразимое, которое только и можно записать

рядом точек, доведя контрасты «Двенадцати» до крайнего предела, совместив в трех строчках символ «горнего величья» и площадную брань? Или поэт и читателя заставляет вслушиваться, превращая свою поэзию в камертон, по которому и другие могут настроить духовный лад своего «я», чтобы уловить — пусть только краем души — музыку мира, чтобы не сфальшивить, чтобы почувствовать мир в его цельности?

В январе 1918 Блок перешагнул черту, окончательно отделившую его от прежних друзей. Сходный шаг сделает и Андрей Белый в поэме «Христос воскрес».

Многие из прежде близких Блоку людей отвернулись от поэта, осуждая его позицию. В 1920 в «Записке о «Двенадцати» Блок ответит всем, кто видел в поэме одну политику:

«...В январе 1918 года я в последний раз отдался стихии не менее слепо, чем в январе 1907 или в марте 1914. Оттого я и не отрекаюсь от написанного тогда, что оно было написано в согласии со стихией: например, во время и после окончания “Двенадцати” я несколько дней ощущал физически, слухом, большой шум вокруг — шум слитый (вероятно, шум от крушения старого мира). Поэтому те, кто видит в “Двенадцати” политические стихи, или очень слепы к искусству, или сидят по уши в политической грязи, или одержимы большой злобой — будь они враги или друзья моей поэмы».

Революционную стихию 1918 он ставит в один ряд со стихией страсти. В 1907 она воплотилась для него в образе «Снежной маски», в 1914 — в образе «Кармен». «Двенадцать» для Блока стоит в этом же ряду. За этой последней лирической волной наступило долгое затишье.

Последние годы

Блок последних лет жизни. Он исправно исполняет многочисленные обязанности: входит в правительственную комиссию по изданию классиков, в репертуарную секцию Петроградского отдела Наркомпроса, работает в издательстве «Всемирная литература», учрежденном М. Горьким: переводит, редактирует, делает доклады. Его назначают председателем управления Большого драматического театра, членом редколлегии «Исторических картин» при Петроградском Отделе театров и зрелищ, членом коллегии московского Литературного отдела Наркомпроса. Он избирается членом совета Дома искусств, председателем Петроградского отделения Всероссийского союза поэтов (в феврале 1921 энергичный Гумилев сменил его на этом посту), членом правления Петроградского отделения Всероссийского союза писателей. Вместе с тем выступает с чтением стихов и лекциями, готовит новое издание трехтомного собрания стихотворений. В 1918 рождается идея издать «Стихи о Прекрасной Даме» с прозаическим комментарием: в дневнике тогда же появляются отрывистые воспоминания о мистических годах своей молодости. Выходят сборники «Ямбы» (1919), «Седое утро» (1920), книга заново переписанной юношеской лирики «За гранью прошлых дней» (1920).

У Блока больше нет биографии, разве что отдельные вехи жизни: арест вместе с другими литераторами Петроградской ЧК и два дня в камере предварительного заключения 15–17 февраля 1919, смерть отца в январе 1920, две поездки в Москву (май 1920 и май 1921), где он выступает с чтением стихов, несколько поэтических вечеров и публичных докладов в Петрограде. Он почти молчит как поэт, пишет множество рецензий то размером со статью, то в несколько строчек, и в них гул гибельного, жесткого времени. Под его пером рождаются, быть может, самые знаменитые статьи: «Искусство и Революция» (1918), «Русские дэнди» (1918), «Катилина» (1918), «Крушение гуманизма» (1919), «Владимир Соловьев и наши дни» (1920), «О назначении поэта» (1921). И в этом поэтическом молчании, и в крайнем одиночестве (большинство прежних товарищей по литературному цеху, возмущенные его «Двенадцатью», не подают поэту руки), и в статьях, в его жизни «без биографии» отчетливо слышны шаги судьбы.

«Бедный Александр Александрович, — вспоминал 1921 год Алексей Ремизов, — вы дали мне папиросу настоящую! пальцы уж у вас были перевязаны. И еще вы тогда сказали, что писать вы не можете. — В таком гнете невозможно писать».

Пушкинская речь, произнесенная Блоком в феврале 1921 (дважды на вечере в Доме литераторов и в третий раз — в Петроградском университете), названная им «О назначении поэта», подвела черту его творческому пути.

На свете счастья нет,
Но есть покой и воля...

Эти слова Пушкина уже с трудом подходили к жизни поэта в XX веке. В стихах Блока 1908 («На поле Куликовом») сказано иное: «покой нам только снится». Но еще жива воля: «И вечный бой!..» Год 1921 — «в таком гнете невозможно писать».

«Речь Блока, равная по значению знаменитой речи Достоевского о Пушкине, — вспоминал поэт Николай Оцуп, — произвела на современников впечатление огромное. Она была как бы комментарием или поправкой к «Двенадцати»...»

«Красота спасет мир», — пророчествовал Достоевский. «Ничего, кроме музыки, не спасет», — заклинал Блок. Но музыка ушла из воздуха новой России, потому что новое варварство подчинилось не музыке истории, но бюрократической машине. В своей пушкинской речи («О назначении поэта») Блок выговорил все до конца:

«...Уже на глазах Пушкина место родовой знати быстро занимала бюрократия. Это чиновники и суть — наша чернь; чернь вчерашнего и сегодняшнего дня...»

Вся речь — гимн «тайной свободе», без которой невозможно творчество, невозможна жизнь. В прощальном стихотворении «Пушкинскому Дому», написанному в это же время, те же слова и последняя молитва Блока:

Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!

После этого литературного завещания Блок медленно уходит из жизни. Борис Зайцев вспоминал приезд поэта в мае 1921 в Москву:

«Что осталось в нем от прежнего пажа и юноши, поэта с отложным воротничком и белой шеей! Лицо землистое, стеклянные глаза, резко очерченные скулы, острый нос, тяжелая походка и нескладная, угластая фигура. Он зашел в угол и, полузакрыв усталые глаза, начал читать. Сбивался, путал иногда. Но “Скифов” прочел хорошо, с мрачной силой...» Когда же 7 мая Блок выступал в коммунистическом Доме печати, «футуристы и имажинисты прямо кричали ему: — Мертвец! Мертвец!»

О том же приезде Блока вспоминал и Эрих Голлербах:

«В Москве настроение Блока было особенно безотрадное. Все яснее в нем обозначалась воля к смерти, все слабее становилась воля к жизни. Раз он спросил у Чулкова: “Георгий Иванович, Вы хотели бы умереть?” Чулков ответил не то “нет”, не то “не знаю”. Блок сказал: “А я очень хочу”. Это “хочу” было в нем так сильно, что люди, близко наблюдавшие поэта в последние месяцы его жизни, утверждают, что Блок умер оттого, что хотел умереть».

По возвращении в Петроград резко обостряется болезнь Блока. Родные и друзья начинают хлопотать о том, чтобы вывезти поэта на лечение за границу. Но судьба его была предрешена...

В день первой встречи с Блоком юная поэтесса Елизавета Кузьмина-Караваева (позже, в эмиграции, знаменитая монахиня Мария) высказала Блоку то, что чувствовала не только она:

«Перед гибелью, перед смертью, Россия сосредоточила на вас все свои самые страшные лучи, — и вы за нее, во имя ее, как бы образом ее сгораете».

Многие современники Блока ощущали то же: он — жертва, которая должна быть принесена. Спустя десятилетия Георгий Адамович в статье «Наследие Блока» вспомнит об этих чувствах:

«Блок казался жертвой, которую приносила Россия. Зачем? Никто не знал. Кому? Ответить никто не был в состоянии. Но что Блок был лучшим сыном России, что, если жертва нужна, выбор судьбы должен

был пасть именно на него — насчет этого не было сомнений в тот вечнопамятный январский день, когда он в ледяном зале петербургского Дома литераторов на Бассейной, бледный, больной, весь какой-то уже окаменелый и померкший, еле разжимая челюсти, читал свою пушкинскую речь».

Путь Блока — жертвенный путь. Он единственный воплотил в жизни идею «богочеловечества», художника, отданного на заклятие. Но он пришел в мир тогда, когда жертва не может стать для остальных искуплением, она может быть лишь свидетельством грядущих катастроф. Блок это чувствовал, он понимал, что его жертва не будет востребована, но предпочел гибель «вместе со всеми» спасению в одиночестве. Он умирал вместе с Россией, его родившей, его вскормившей. И как некогда потрясенный смертью отца, Блок писал матери о нем: «Я думаю, он находится уже давно на той ступени духовного развития, на которой доступно отдалять и приближать смерть», — так теперь те же слова он мог бы сказать о самом себе. Быть может, всего точнее о том событии, которое произошло 7 августа 1921 в 10 часов 30 минут, сказал Эрих Голлербах: «Блок умер оттого, что хотел умереть», или Владислав Ходасевич: «Он умер оттого, что был болен весь, оттого, что не мог больше жить. Он умер от смерти».

10 августа Блока хоронили. Гроб был усыпан цветами. Покойного трудно было узнать: короткая стрижка, отросшая щетина, исхудалое, пожелтевшее лицо, укрупнившийся нос. До Смоленского кладбища гроб несли на руках. За ним двигалась огромная толпа. Речей на могиле не произносили: Блок и после смерти не терпел фальши. На могиле поставили крест, положили венки... В сентябре 1944 его прах перенесут на Литераторские мостки Волкова кладбища.

Вместе с Блоком ушла в прошлое великая и оплаканная им Россия. Наступала пора России иной — России советской. Иногда о Блоке говорят: он не был поэтом XX века, он был поэтом, завершившим золотой XIX век русской литературы. И тогда еще более веско и точно, не принижая никого из великих русских поэтов, звучат слова, случайно оброненные Владиславом Ходасевичем: «Был Пушкин и был Блок. Все остальное — между».